



НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА **НБ**

Михайло Стельмах

**ГУСИ-ЛЕБЕДИ
ЛЕТЯТ...**

М. СТЕЛЬМАХ

**ГУСИ-ЛЕБЕДИ
ЛЕТЯТ...**



НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

**ГУСИ-ЛЕБЕДИ
ЛЕТЯТ ...**

ПОВЕСТЬ

*Авторизованный
перевод с украинского
И. Чеховской*



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

С(Укр)2

С79

Иллюстрации художника
Д. ПЯТКИН

7-3-3

ЛЕБЕДИНАЯ СТРАНА ДЕТСТВА

У каждого есть своя страна детства. И, может, самая крепкая память — память детства. Детство помнит все радости и обиды. Детство закладывает фундамент человеческой личности.

Вот почему в подлинном искусстве обращение к детству всегда становилось и рассказом о том, как, в каких условиях формировался человек. Искусство всегда ведет к обобщениям. Когда мы читаем автобиографические повести Л. Толстого, М. Горького, мы попадаем в сложный мир чувств, настроений, размышлений, столкновений, мы у истоков, где складываются характеры. Мы познаем влияние среды на человеческую индивидуальность.

Вспоминая же свое детство, мы часто обретаем новые силы...

Повесть М. Стельмаха «Гуси-лебеди летят...» ограничена во времени. Это рассказ о детстве в самую тяжелую пору — отец воюет еще где-то на фронтах гражданской войны, в селе все перевернулось и еще не уложилось. На этом переломе и формируется характер героя повести.

Это не обычный сельский хлопчик, каких много могло быть в ту пору на Украине. Маленький Михайлик, от имени которого ведется рассказ, наделен редким даром поэтического видения мира. Думаю, что М. Стельмах, кроме всего прочего, хотел открыть и те родники, которые дают силу искусству. Это рассказ и о детстве *поэта*, хотя для самого Михайлика высшей мечтой было в то время стать учителем.

Сплетение реально-достоверного, конкретно-исторического и поэтического, преломленного сквозь призму особенного, детского видения, окрашенного в романтические тона, и создает тот мир, в который мы входим вслед за маленьким Михайликом. Все люди, события увидены, пережиты и осмыслены мальчиком, для которого граница между реальностью и сказкой зыбка и весьма подвижна.

Вот он, закинув голову, видит лебедей, пролетающих над родною хатой. И он, маленький поэт и фантазер, мечтает о том, чтобы волшебным словом остановить сказочных птиц, он видит тех гусей-лебедей, «что на своих крыльях выносят из беды маленького хлопчика». После разговора с дедом он долго будет раздумывать о золотых ключах, которыми солнце весной «отмыкает землю», о лебедях, которые полетели в незнакомую страну «на тихие воды, на ясные зори». И он готов идти искать эту сказочную страну в лесные дали, чтобы увидеть «тех словно из серебра отлитых лебедей, посмотреть на их звенящие крылья, что в теплом краю подхватили весну и принесли нам...»

И тут следует неожиданный плавный поворот... Превосходно чувствуя особенности детского мировосприятия, М. Стельмах мягко, не без юмора возвращает своего героя в реальное, к нелегким обстоятельствам тогдашней жизни.

«Но с кем я пойду и где мне взять сапоги?» — спрашивает сам себя Михайлик. Горькая бедность, во всей ее безысходности!

Это переключение из поэтически-сказочного в повседневное, в «грубую» реальность довольно часто происходит на страницах повести. Оно создает особенную тональность, характерную для всего творчества М. Стельмаха. Романтическое всегда возникает из реальных обстоятельств жизни его героев, оно высветляет их характеры, оно нередко переходит в поэтическую символику. В произведениях М. Стельмаха романтическое воплощает сущее.

Образ гусей-лебедей не случайно начинает и заканчивает повесть. В пролетающих лебедях как бы воплощается тот мир поэзии, добра, чистоты, который возвышает и облагораживает человека. «А лебеди летят, летят... над детством моим... над жизнью моей!..»

Люди, которые окружают Михайлика в детстве, обладают той душевной щедростью, той отзывчивостью к добру и красоте, которые возвышают их над повседневностью, они помогают познать исконно народное, вечное, как сама жизнь.

Вот на лице деда Демьяна, будто окропленные росой бессмертники, оживают старые глаза. Дед хохочет, услышав обеспокоенный вопрос маленького Михайлика: не может ли солнце «потерять ключи, как наша мама?». В этом образе, в этой портретной детали, в этом уподоблении глаз деда бессмертнику ощутим подтекст. Внешнее подобие для М. Стельмаха создает возможность в сущности, романтического образа, который закрепляет главное в характере деда: его поэтическую настроенность, его искусство, его руки мастерового-художника, способные сделать для внука чудесную мельничку и высечь из дерева могучие фигуры святых, похожих на «наших славных дедов Дебелюка и Марущака».

«Железо и дерево прямо пели под руками деда — пока сила не ушла из этих рук». Рассказ о деде запечатлевает одного из народных умельцев, без которых не было бы возможно и современное профессиональное искусство. «Вечное», «бессмертное» в его образе как бы утверждает бессмертие творческих сил народа. Частная, портретная деталь обретает свойство образа-символа.

Но дед появляется в повести не только в особенных поэтических обстоятельствах, не только как человек, который помогает внуку увидеть мир как бы преображенным сказкой, вымыслом, искусством. Он проходит перед нами в будничной, обыденной обстановке, во время работы, а порой в комических ситуациях.

Повествование о том, как дед вместе с дядьком Трофимом покупали на ярмарке коня, сродни лучшим страницам народного юмора. Поведение деда, встреча с родными, свояками, знакомыми, рюмочка у одного-другого «подпольного» корчмаря (само собой, торговля самогоном преследовалась), песня про дивчину, которая для любимого «люльку за курку купила», за юбку — губку и т. д., «бо козака вірно любила». Торг с цыганом и, наконец, финал: у такого же, как сами, пьяненького мужичка покупают за все деньги, какие есть, лошадь. Покупали коня, а конь оказался... кобылой. Проспавшийся дед долго не может прийти в себя от изумления.

Комическое вносит в повесть светоносную струю юмора, как бы смягчает «высокую» патетику лирического, вводит ее в «земное» русло, создает то эмоциональное богатство, которое в природе подлинного искусства.

Поэтическое начало с наибольшей силой воплощено в характере матери. В образе ее звучит, поет сыновья любовь и то неуловимое чувство грусти, которое запечатлелось уже в посвящении «с любовью и печалью». Проходят годы, ничто не властно над временем. А на страницах повести мать живет молодой, доброй и прекрасной.

Нередко, когда рассказывалось о жизни людей труда, едва ли не на первое место в их характерах выступала постоянная озабоченность, угнетенность своим положением. Да ведь и в наше время появляются произведения, в которых безрадостные люди уныло тянут «лямку» жизни. У М. Стельмаха мать — вечная труженица — бережно открывает сыну потаенную красоту мира. Всюду для нее — волнующее таинство жизни. Вот она разговаривает с семенами, перебирая их: «Ой, горох, горох, как же это ты прошлым летом допустил к себе червя?». Вот она словно бы творит сказку, рассказывая о том, как на смену весне пришло лето: «На лодочке, на весле уплыл от нас май, он прихватил с собой синие дожди, зеленый шум и соловьиное пение, и в село через плетни заглянуло лето». Она покажет сыну на рассвете задымленную росой вишню: «Вот видишь, сегодня леточко прикоснулось к ягодам, и они начали краснеть».

Разве не здесь, не в этом материнском один из самых могучих неиссякаемых истоков жизни, поэзии, добра — всего того, чем живет искусство!

И через годы звучит благодарный голос сына:

«Мать, первая в мире, научила меня любить росу, легкий утренний туманец, опьяняющий любисток, мяту, маковый цвет, осеннюю рябину и калину; она первая показала мне, как плачет от радости дерево, когда приходит весна, и как в расцветшем подсолнухе ночует опьяненный шмель».

В повести развертывается целая галерея женских образов: мать, бабушка, поповская наймычка Марьяна, тетка Василина, которая в песне искала свою долю и радость, и, наконец, Люба — маленькая подружка

Михайлика... М. Стельмах показывает, как проявляется в характере Михайлика, входит в плоть и кровь его, становится путеводной звездой на всю жизнь бережная любовь, уважение к женщине.

Уже на первых страницах прозвучит одна из главных тем повести. Ее как бы приносит председатель комбеда Себастьян, который приходит с письмом от отца Михайлика. В конце книги эта тема революции прозвучит с окрыляющей силой, надеждами и счастьем молодости. Батрачку Марьяну увозит навстречу новой жизни казак, воевавший у Котовского, вернувшийся с орденом с гражданской войны. На новом козушке у Марьяны кивали головками два первых подснежника. «Под копытами коней зазвенела и брызнула соком мартовская земля».

Весна и радость. Надежды и ожидания...

Свершившаяся революция, казалось, не могла еще самого малого — одарить Михайлика сапогами — и уже могла все, потому что она открывала Марьяне, бедному селянскому хлопчику такие возможности, о которых и не мечталось. Батя еще будет носить своего Михайлика в школу — не в чем ходить, купит потом и сапоги, но мальчик познает нечто более важное и значительное. Ему светит восходящее солнце нового мира. Он учится распознавать истинный мир добра и справедливости. Он учится понимать и жить по новым законам, которые еще только отверждались.

И здесь, бесспорно, образ Себастьяна — одна из самых больших удач М. Стельмаха. Он увиден и запечатлен детскими глазами. И это неподкупный глаз, все замечающий, ничего не забывающий. И Себастьяна мы видим главным образом в отношении к этому мальчику. В шутках, в понимании самого главного, что жило в Михайлике — тяга к знаниям, к учению, в готовности помочь, — открывается характер, полный мужества, сдержанного благородства, уверенности в будущем.

Пожалуй, в таком освещении есть и некоторая романтическая односторонность. Многое в жизни Себастьяна, в его работе нелегкой, трудной, полной опасностей — борьба с бандитами, укрепление Советской власти — остается вне поля зрения маленького героя повести. Рассказывается о том, как Себастьян пригрозил сыну попа, который дал мальчику, едва научившемуся читать и потя-

нувшемся к книге, непонятную «Космографию». Но суровое предостережение было услышано поповичем из детских уст, прямого столкновения не произошло. В сцене, когда приходит сдаваться бывший однокашник, ставший бандитом Порфирий, дядько Себастьян открывает себя в свою истинную силу. И все же даже здесь он кажется излишне добродушным, понимающим... то, что вряд ли было ясным ему тогда. Не привносится ли все это в характер председателя комбеда из наших времен?

Опасность модернизации может проявиться по-разному. Если для образа Себастьяна она может быть поставлена как вопрос, подлежащий окончательному суду каждого читателя в отдельности, в соответствии со своим опытом и пониманием жизни, то в характере Юхрима Бабенко эта модернизация проявилась более отчетливо. Характер этого «бдительного» карьериста, шкурника и доносчика ушел на рубеж 20-х годов явно из других времен. Приспособленцы в те времена действовали по-другому. Да, в сущности, писатель и не пытается объяснить характер Бабенко социально-исторически, обосновать психологически.

Маленький герой повести делит всех людей на добрых и злых. Точнее сказать, в его восприятии безотчетно группируются все окружающие люди по нравственным признакам добра и зла. Он вспомнит церковного старосту, скопидома и жадюгу, который все жаловался на недостатки, с гневом вспомнит и того, кто отогнал от своего двора в голодный год женщину и ребенка, он потянется к неунывающему дядьке Миколу, который научит его обороняться от жизни веселой шуткой... В общении с людьми он приобретает тот опыт, который многое определит в его будущей судьбе.

И не раз писатель в воспоминаниях своего героя перекинёт мостик с того уже ставшего далеким детского времени, пришедшегося на зарю Советской власти, к себе нынешнему, к иным временам. Эти отступления не только скрепляют цементом достоверности детские наблюдения и размышления, освещают их опытом прожитой жизни, в них, как правило, писатель с открытой силой лиризма выскажет самое заветное. В лирических отступлениях — размышления автора о том, что наиболее дорого ему. В них зачастую — обобщения большого эпического размаха.

Так, например, в конце рассказа о том, как пытался Михайлик одолеть «Космографию», естественно и величаво прозвучало:

«Сколько лет прошло с тех пор! Я уже начал было забывать эту давнюю историю с космографией, когда от небольшого ума хотели надсмеяться над малым мужицким ребенком. Но все это всплыло в памяти в тот день, когда крестьянский сын нашей родной земли впервые в истории человеческой поднялся в космос... В самом деле, хорошо смеется тот, кто смеется последним!»

В таком неожиданном сопоставлении, казалось бы в чисто лирическом «ключе» прозвучала эпическая тема судеб народа.

Писатель расскажет, как провожали в поле первых пахарей, отца своего вспомнит, который поставил его однажды возле плуга, и, словно несдержанная песня, прозвучит гимн земле, пахарю, гимн человеческому труду:

«Из щедривок, которые зимой пелись под окнами добрых людей, я знал, что за плугом даже сам бог ходил, а богоматерь пахарям еду носила... Поэтому и теперь, когда я далеко в поле различаю силуэт женщины, которая несет обед уже не пахарю, а трактористу или комбайнеру, в моей душе трепетно сливаются давние легенды с сегодняшним днем...»

А это книжное презрение к селянину и его кровному труду впервые породило во мне отвращение к спеси, где бы ни ощеривала она своей пасти — в буднях жизни или в книге, где взлелеянное слово должно быть настоящим праздником души и мысли...»

Нечистая сила из сказок детства обретает расширительный метафорический смысл, ею именуется все, что ставило в жизни заслоны недоверия и подозрительности.

«Более страшное началось значительно позднее, когда нечистая сила разбирала мои книги, и не прощала, и в каждой строке выискивала враждебные настроения, разную апологетику, отклонения, крестьянскую ограниченность, мелкособственнические тенденции и еще какую-то погань...»

Дядько Микола, как иногда не хватало вашего топора, чтоб обрубить хотя бы хвосты той нечисти, что залазила в слово, как червь в яблоко!»

Такого рода отступления включают далекое прошлое в недавнее или в современное. Эти философско-лириче-

ские обобщения, естественно вплетаясь в сюжет, служат своеобразными кульминациями. В них говорит автор — наш современник, гуманист и поэт, остро осознающий человеческое достоинство, гордые возможности, которые открывала революция перед людьми.

Через все творчество Михайла Стельмаха проходит как бы одна тема правды и кривды — неутихающей битвы добра и зла. Различны герои, различны исторические обстоятельства, в которых они действуют, но всегда писатель будет страстно доискиваться, каким должно быть добро и каким бывает зло. Казалось бы, вечная тема искусства. Ну что же, значит, важна она и для жизни, ибо зло всякий раз выступает в новом обличье и добро должно обретать все новые силы и поддержку, чтобы вступить в бой со злом.

Повесть Михайла Стельмаха «Гуси-лебеди летят...» открывает в лебединой стране детства те истоки, которые питают непобедимую силу добра.

Л. Якименко

*Отцу и матери моим —
Панасу Демьяновичу и
Ганне Ивановне
с любовью и печалью*



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прямо над нашей хатой пролетают лебеди.

Они летят ниже растрепанных обвислых туч и стряхивают на землю беспокойный звон далеких колоколов. Дед говорит, что так поют лебединые крылья. Я гляжу, как маячат они, прислушиваюсь к их звону, и мне тоже хочется полететь за лебедями — я поднимаю руки, словно крылья, и радость, и грусть, и серебряный перезвон окутывают и окутывают меня своей пряжей.

Я становлюсь будто меньше, а кругом увеличивается, растет и меняется все на свете: и заполоненное белыми тучами небо, и одноногие скрипучие журавли, которые никуда не улетят, и залатанные веселым зеленым мхом крыши, и голубоватая дубрава над селом, и чернотелая, влажномохнатая от туманца земля, пробившаяся из-под снега,



И весь этот мир трепетно плывет в моих глазах и отдаляет и отдаляет лебедей. Но я не хочу, чтобы они улетали от нас. Вот если бы каким-то чудом птицы послушались меня — сделали бы круг над селом и снова пролетели над нашей хатой. Был бы я чародеем, так разве не вернул бы их?! Сказал бы такое волшебное слово! Я задумываюсь, а вокруг меня уже кружатся видения сказки с ее неразгаданными дорогами, дремучими лесами и те гуси-лебедята, что на своих крыльях выносят из беды маленького хлопчика. Сказка вкладывает в мои уста то самое слово, которому послушны земля и вода, птица в небе и само небо...

А в это время надо мной творится чудо: кто-то невидимым смычком провел по синему поднебесью, по белым тучам, и они зазвучали, как скрипка. Я тянусь вверх и сам себе не верю: снова над нашей хатой пролетают лебеди! Что это? Послушались они моего слова — покружили над селом и вернулись ко мне — или это новая стая?!

А вещая скрипка и серебряный перезвон, взмываясь над моим детством, звучат все сильнее, поднимают на крылья мою душу и уносят ее в неразгаданную даль. И хорошо, и странно, и радостно становится мне, малому, в этом мире...

«Так-так-так», — трется о мою ногу старая, с перебитым крылом утка. Она чем-то встревожена, выкручивает

свою подвижную шею и то одним, то другим глазом приглядывается к небу и хлопает единственным крылом. Ей хочется что-то очень важное сказать мне, но она не знает других слов и снова повторяет: «Так-так-так».

За высокой стройной звонницей, которая тоже рвется ввысь, где-то в белом поднебесье растаяли лебеди, но пение их крыльев еще отзывается во мне... А может, это уже откликнулись разбуженные колокола на звоннице?

— Вот и принесли нам лебеди на крыльях жизнь,— говорит небу и земле мой дед Демьян; в его руке весе-



ло поблескивает струг, которым он только что мастерил спицы.

— Жизнь? — удивляюсь я.

— Ну да, и весну и жизнь. Теперь, внучек, все-все начнет оживать: тронется лед на реках и озерах, оттает сок в деревьях, проснется гром в тучах, а солнце своими ключами отомкнет землю.

— Дед, а какие у солнца ключи? — еще больше удивляюсь я, потому что не догадывался до сих пор, что оно, как человек, может иметь ключи.

— Золотые, внучек, золотые.

— Как же оно отмыкает этими ключами землю?

— А вот так: в добрую минуту глянет солнце из окошка вниз, увидит, что там и земля, и люди, и скот, и птица зачухли, стосковались по весне, да и спросит брата-месяца, не пора ли землю отомкнуть. Месяц кивнет, а солнце усмехнется и на луче спустит в леса и луга, в поля и на воду ключи, а они уже знают свое дело...

Я внимательно слушаю деда, и вдруг мне становится страшно.

— Дед, а солнце не может потерять ключи, как наша мама?

— Что, что? — Будто окропленные росой бессмертники, оживают старые глаза. Дед ошарашенно вскидывает брови, потом свободной рукой легонько отталкивает меня и начинает хохотать. Он очень хорошо смеется, хватаясь руками за плетень, ворота, выступ хаты или дерево, а если нет какой-нибудь подпорки, то ее заменяет тощий живот. В такую минуту вся дедова фигура переламывается, закорючки усов оттопыриваются, изо рта вырывается клекот и «ох, рятуйте мою душу», с одежды осыпается деревянная пыльца, а из серых глаз так брызжут слезы, что хоть макотру подставляй под них.

Теперь я успокаиваюсь: значит, солнце не может потерять свои ключи, оно их, видно, носит на шее или привязывает к руке. Так и надо, чтоб потом не горевать и не морочить кому-то голову.

— Дед, а куда лебеди полетели?

— На тихие воды, на ясные зори,— отсмеявшись и посерьезнев, торжественно говорит дед, взглядом указывая мне на хату, и идет под навес мастерить колеса.

«Так-так-так»,— соглашается старая утка и еще раз одним глазом смотрит вверх.

А я стою посреди двора и по-своему толкую дедовы слова. Передо мной, как ворота, раскрывается дубрава, ко мне приближаются далекие тихие воды и прильнувшие к ним звезды. Это в тех краях, где я еще не бывал. И покатилась туда моя тропка, словно клубочек.

И так мне хочется пойти в лесные дали, взглянуть с какого-то незнакомого берега на тех словно из серебра отлитых лебедей, посмотреть на их звенящие крылья, что в теплом краю подхватили весну и принесли нам... Но с кем я пойду и где мне взять сапоги?

Только теперь оглядываю свои посиневшие ноги, тяжело вздыхаю и плетусь домой, чтоб не схватить подзатыльник. И что это за мода пошла: не успеешь босиком выскочить из хаты, как сразу тебе дадут тумака да еще обзовут махометом или лоботрясом. А в чем же ты выскочишь, если теперь не каждый взрослый разживется на обувьку? Заикнись про это — опять же умником назовут, затюкают, еще и припомнят, что по тебе, мол, давно ремень с медной пряжкой плачет,— горел бы он со своим плаканьем ясным огнем!

А как ни за что ни про что влетело мне, когда только-только подморозило и от первого ледка потянуло чернобривцами! Тогда всю нашу гору и ледяные дорожки около церкви сплошь покрыла ребятня на санках, на деревянных коньках. Они делают так: выстругиваешь по длине сапога деревяшку — березовую, яворовую или кленовую, делаешь ступеньку для каблука, а понизу ровненько пропускаешь проволоку, чем толще, тем лучше. Вот и вся премудрость, зато сколько радости от нее!..

Глядел это я, глядел из окна, как блаженствуют другие, а потом, выбрав подходящую минуту, тихонько метнулся в сени, выхватил из-под жернова корыто, заарканил его веревкой и босиком кинулся к ребятам. Никого и не удивило, что я притащился с такой снастью,— на чем только тут не катались: одни на саночках, другие на коньках, третьи на куске жести, четвертые умудрились вместо коньков приспособить стертые коровьи кости, пятые на подковах, а Иван, сын дядьки Миколы, спускался на перевернутой вверх ногами скамейке. Главное было — не на чем ехать, а лишь бы ехать, и когда плюхнешься, не морщиться, а хохотать вместе со всеми.

Какое ж это было наслаждение — взобраться на самую верхушку горы, победителем взглянуть на засне-

женное, дымившее трубами село, усесться на свой самокат и — гайда, гайда, гайда во весь дух вниз! Машинерия твоя летит, аж гудит, ветер свистит в ушах, сбоку собаки гавкают, на колокольне звонят, перед тобой хаты шатаются-подпрыгивают, вся земля ходуном идет, а ты, будто кум королю, расселся на своих ногах, чтоб не так мерзли, и перегоняешь девчат или какого-то там трусишку, с разгона врезаешься в чьи-то санки и мячом вылетаешь на снег. А сзади еще и еще кто-то наезжает на тебя, и уже растет вот такушая куча, в которой все хохочет, визжит, копошится, выдирается наверх и комом катится вниз.

Вдруг из этой веселой и теплой копны кто-то стал меня за воротник вытаскивать на свет божий, который сразу же померк в моих глазах, когда я очутился перед побледневшей от страха и гнева матерью. Вот теперь-то все начали смотреть на меня, будто я с луны свалился, а кто-то уже принес матери корыто, которое почему-то успело надколоться. Мать подхватила его под мышку и, не очень церемонясь, потащила меня прямо с игрища на расправу. Хотел я махнуть куда-нибудь, где перец не растет, но рука матери словно приросла к моему воротнику. Куда девалась радость, когда я впереди матери и корыта поплелся домой?..

Ну а что потом было, вы, наверно, догадываетесь: сначала из меня выбивали дурь и приговаривали, какой я басурман, разбойник, сорвиголова, баламут и даже «хымород». С таким противным словом я никак в душе не мог примириться, но и возражать не стал, зная, что за это можно схватить лишнего тумака. Потом мне маминым платком на два узла перевязали шею, упаковали на печь, где парилось просо, и стали отпаивать малиновым чаем, который был бы совсем вкусным, если б около него хоть лежал кусочек сахара.

На другой день стало известно, что чертяка меня не схватит, потому что ночью я ни разу не кашлянул. По этому случаю дед отметил, что я бедовый, весь в него, а мать сказала, что в оглашенного. Мы с дедом переглянулись, мать погрозила мне кулаком, а бабуся решила повести своего непутевого внука в церковь. Там я должен был и покаяться и набраться ума, которого мне все почему-то не хватало. Да я не очень-то и горевал, потому что не раз слышал, что этого добра недоставало не только

мне, но и взрослым. И у них тоже отчего-то выскакивали клепки, рассыхались обручи, терялись ключи от разума, не варил котелок, вместо мозгов росла капуста, не родило в черепке, ум как-то умещался в пятках, а на плечах торчала макотра...

В то утро я чуть ли не блаженствовал: мать на часок взяла у соседей сапоги и, смазывая их березовым дегтем, принялась поучать меня, чтоб я в церкви не лоботрясничал, не шмыгал носом, не вертелся юлой, не ловил ворон, не перся вперед, не смеялся, не прыскал, не лез на клирос и не забывал крестить лоб. Узнав решительно все, чего нельзя делать в церкви, я подался на улицу, то опережая бабуся, то оставаясь позади, а ей обязательно хотелось вести меня за руку. И почему это все-все забывают, что хлопец есть хлопец?!

Перед тем как войти в церковь, бабуся набожно согнулась, сделал и я так, но, видно, не угодил ей и тут же схватил именно то словечко, которого не слышал вчера. В божьем храме сильно пахло свежевыдубленными кожухами и разогретым воском. В притворах и повсюду молились люди, и среди них растопырился нескладный церковный староста, которого боялась вся детвора. Сейчас он делал сразу две работы — собирал деньги и гасил свечи. Губы у него толстые, расшлепанные: дунет, свечка только мигнет — и нет уже ни огонька, ни святого лика за ним.

Люди говорили, что церковный староста на одних только огарках нажил казан денег. Староста гневался на такую молву и доказывал, что из-за церкви и «такого времени» скоро станет нищим. Однако на старостином дворе пока еще нищетой и не пахло: было кому там ржать, мучать, бекать и визжать. А «такое время» отразилось разве только на старостиных стенах: он их, как шпалерами, оклеил керенками стоимостью в сорок и двадцать рублей — сороковки ближе к божнице, двадцатки — к помойнице.

Бабуся перед какой-то почерневшей иконой поставила самодельную свечечку и ревностно молилась, пока не вспомнила, что обязательно должна показать мне грозный и страшный суд — господа нашего Иисуса Христа второе пришествие. Это пришествие было нарисовано в одном из притворов прямо на деревянной стене. А оттого, что с влажного дерева капало, страшный суд пред-

ставлялся еще страшнее: на нем плакали и праведники и грешники.

И чего только не было на том суде?! Тут на радуге, как на коромысле, властно сидел Христос-вседержитель, под ним чья-то дебелая рука бросала на чаши весов правду и кривду, по бокам от вседержителя на белых облаках стояли пророки, богородица и Иван Предтеча. Ниже, слева, был рай, обнесенный толстущей каменной стеной. Святой Петр вел к райским вратам изможденных праведников, а в самом раю уже стояли трое бородатых праотцев и толпа веселых запорожцев, все они были в широких красных штанах и при оружии, на их головах красовались длинные оселедцы¹.

А вот справа были настоящие ужасы: тут толпились черные, словно их всю зиму коптили в дымоходе, черти и огнем дышала мерзкая пасть змея, а к ней, бледнея от страха, подходили грешники: пьяница с бочонком самогона, толстый, важный пан, разжиревший на чужой беде, мельник-ворюга с привешенным на шею жерновом, судья-хапуга с торбой нечестивых денег, монах, что заглядывал не в святые письма, а в греховную суету, какая-то подмалеванная, красиво одетая надменная госпожа, под которой было написано «Спесь». За ней корчились брехуны и доносчики с языками, похожими на лопаты, и прочая мелкая шушера, что не жила, а лишь хитрила и греховничала на земле.

Хоть и страшновато было глядеть на это человекопадение, но я все-таки присматривался к нему. На мое счастье, тут никого не было из тех дурней, что босиком спускались бы в корыте, и это меня немного успокоило...

— Михайло, ты еще не в хате?! — крикнул из-под навеса дед. — Гляди, достанется нам обоим за лебедей! — И он для чего-то посмотрел вверх, где солнце и голубые разводы боролись с тучами.

Я еще раз вздохнул — это и для себя, и чтоб дед пожалел меня, необутого, и, думая о своем, стал вытирать ноги о протертый жерновок у нашего порога. Тут же, около завалинки, темнеет яма, где летом живет наша утка. Она уже теперь, наслушавшись лебедей, посматривает на свой закуток — тоже почуяла тепло. Хотя наша

¹ Пук волос на бритой голове запорожца.

утка и однокрылая, смелость ее и сметливость удивляют всю улицу. Весной, когда повыводятся цыплята, она все время хлопочет около чужого выводка. А увидит где-нибудь ворону — так переругивается с ней и грозитя одним крылом и шеей, что чернокрылая клевака со зла каркнет и полетит дальше искать добычу.

Умела наша утка как-то и в людях разбираться. Когда у калитки появлялся хороший человек, мы слышали угодливое или приветливое «так-так-так». Идет добрый человек в хату, а утка, бочком-бочком, сопровождает его, как настоящая хозяйка. Но стоило лишь показаться на улице насупленному обдирале Митрофаненко или хитрюге и пустомеле Юхриму Бабенко, как птица, нахохлившись, начинала выбивать ногами сердитую дробь и застуженно орать: «Ках, ках, ках!»

— Зараза бескрылая, — всегда еще около ворот на-кидывался на нее Митрофаненко, и на переносице у него набухала шишка. — Тоже что-то против тебя имеет!

А Юхрим Бабенко льстиво округлял в улыбке и без того круглые, как коржи, щеки, разводил длинными руками и деланно изумлялся:

— И где это, за какими океанами-морями вы такую преинтересную птаху достали? А ногами как орудует! Поставьте ее на ступу, так и проса натолчет.

— А тебя, шилохвостый, верно, и в ступе не утолчешь, — косился на него дед.

— У всякого свой нрав, и характер, и разум имеется, — не очень-то обижался Юхрим. — Вы еще услышите обо мне и в селе, и не только в селе!

В работе Юхрим был жидким, как юшка, зато мог круто замесить какую-нибудь склоку или паскудство и на этом показать юркость своей небольшой головы, мозги которой всегда были нацелены на свежую копейку — дух ее бывший писарь и подо льдом чуял. Только много позднее, узнав мелкую и лукавую душу Юхрима Бабенко, я понял дедовы слова: «Сто друзей — это мало, один враг — это много!..»

Съезжившись, стою я на пороге, снова прикидывая, как бы это незаметно проскользнуть в хату. Хорошо, если б именно сейчас кто-нибудь заглянул к нам в гости или хотя бы мама начала петь. Тогда у нее и лицо и глаза становятся грустными-грустными, а ты в эту минуту вскакивай на печь, притаись, пока не просохнут ноги, или

стругай что-нибудь ножиком и не очень подавай голос. Но в гости к нам никто не спешит и из хаты не доносится никакой песни. А ноги уже гвоздиками подбивает холод, и хочешь не хочешь, а должен ты попасться на глаза матери. Как она сейчас начнет отчитывать, я примерно догадываюсь. Тут, главное, ни в чем ей не перечить — ни словом, ни глазами, а только грустно понурить голову, повиниться немного, а потом неожиданно спросить такое, что бы сразу повернуло мысли матери. Что ни говорите, а иногда это помогает.

На улице слышны чьи-то шаги. Я немного оживаю, оборачиваюсь и смотрю не на того, кто шлепает, а на то, в чем он шлепает, потому что если у тебя нет обуви, так ты начинаешь осматривать человека с ног.

Под самым забором, где немного посуше, идет наш председатель комбеда дядько Себастьян, и я сразу веселею.

— Доброе утро, парень! — увидев меня, приветливо здоровается дядько Себастьян. На его высокой статной фигуре ладно сидит кавалерийская шинель, под которой оттопыривается пистолет. — Ты чего это, сякой, а не такой, на холоде подковы куешь зубами?

— Ги-ги, — смеюсь я.

— Он еще и смеется! — будто сердится дядько Себастьян и грозно трясет головой. Его огненный чуб метнулся над бровями, и дядько начинает заталкивать его в старенькую буденовку. — Чего босиком стоишь?

— А то вы не знаете чего?.. Купило притупило.

— Тогда сиди, хламидник, на печке и не скрипи дверьми! — гремит дядько Себастьян, а я, держась за скобу, играю дверьми и усмехаюсь. — Полюбуйтесь на него — босой, а чего-то радуется!

— Птица тоже босиком ходит и не горюет, — смеюсь, отвечаю я.

Так что же после этого дядьке Себастьяну делать? Он прижмуривается и тоже начинает натрушивать смех на ворота, и нам приятно глядеть друг на друга, хотя один из нас обутый, а другому обувка только снится.

— Дядько Себастьян, у вас под шинелью стеер?

— А ты откуда знаешь? — удивляется председатель.

— Сорока на крыле принесла.

— Лучше б она тебе сапоги принесла.

— Вы его у бандитов забрали?

— У бандитов.

— А он хорошо бьет?

— Ничего.

— Вот бы мне хоть разок бабахнуть,— жмурюсь от удовольствия, представляя себе, как бы я стрельнул из стеера.

— Нашел игрушку! — хмурится председатель.— Лучше было бы, хлопче, если б ни ты, ни мы не знали этих игрушек.

Тут уж я дядьке Себастьяну ни чуточки не верю, хоть он правдивый и добрый человек. Это же так красиво, когда есть оружие — и сабля, и карабин, и пика у красных казаков: одно тебе рубит, другое стреляет, а третье, как на плакате, по семеро всяких врагов так насквозь протыкает, что они только ногами дрыгают и теряют черные шапки, похожие на куски труб. Но разве старшие говорят малым всю правду? К этому нам не привыкать.

Дядько Себастьян опирается на ворота, а я ближе подхожу к нему. Он косит продолговатым глазом, примеряется, хочет через ворота схватить меня за руку. Я, гигикая, отскакиваю от него, а потом опять подхожу — и все начинается заново. Такая забава нравится нам обоим, хоть я иногда с опаской кошусь на окна. Так и не поймав меня, дядько достает из кармана помятое письмо.

— Держи вот — от батьки. Неси скорей матери.

— Спасибо. Так, может, зайдете в хату? — приглашаю дядьку и прикидываю, как хорошо это было бы для всех: мать и старики засуетились бы, стали горевать и радоваться, а я прикипел бы к дядьке Себастьяну и, слушая письмо, досыта нагладелся бы на стеер.

— Некогда, хлопче, люди ждут,— разрушает он мои надежды.

— Жаль, жаль,— говорю степенно, беру письмо и уже кубарем так влетаю в хату, чтобы прежде всего в глаза бросилось письмо, а не мои ноги.— Мама, от батьки!

— Ой! — даже застонала мать и прикрыла веками глаза. Веретено выпадает из ее руки и разматывает по полу пряжу.— От батьки?

— Ну да! — победоносно отвечаю, потому что кому сейчас нужны мои ноги.

Мать прижимает руки к груди, потом берет письмо, растерянно оглядывает его со всех сторон, даже нюхает:

— Махоркой пахнет... Может, ты, сынок, хоть что-нибудь поймешь?

— Я же, мама, только по печатному умею.— У меня тоже печаль в голосе.

— И чего б это людям не сделать одинаковое письмо — и печатное и писаное? — горюет мать над наукою, а потом велит: — Беги, сынок, к дядьке Миколе, пусть придет почитает.

— В чем же это я, мама, побегу? — смотрю на свои ноги и даже подрастаю от надежды, но тут же немилосердно морщусь.— Теперь так везде развезло...

— В моих сбегашь, только не мешкай.— Мать снимает свои старенькие сапожки с желтыми голенищами и черными головками.

Я, как само счастье, хватаю сапоги, стоя, кое-как наворачиваю портянки и через минуту становлюсь завязтым казаком, неважно, что мамины сапоги великоваты, неважно, что они и не черные и не желтые.

— Ну как, мама? — спрашиваю, пристукивая каблучками.

Да разве матери до моего блаженства? Она уже строго смотрит на меня:

— Беги быстрее!

— В один миг домчусь, как на чертопхайке! ¹

Когда на тебе сапоги, ноги несут тебя, словно птички крылья. Я вылетаю из хаты, что-то победно кричу деду, хлопаю руками по задубелым голенищам, и они отзываются музыкой. Но дед тоже почему-то не разделяет моей радости, он озабоченно склоняется над колесом, а я перелетаю через ворота, и уже мои сапоги с разгона разбрызгивают весеннюю грязь.

Теперь и запеть можно по-казацки:

А вулиця та вузесенька,
Чого трава зеленесенька?

Улица наша и вправду узенькая, да еще и кривая. Весной, когда на ее колени и зеленую травку падает вечер, она становится похожей то на речку, то на длинный мост. Из-за плетней приветливо здороваются

¹ Так иногда называли в те годы мотоцикл.

с людьми веснушчатые вишняки, а в них то печалются, то веселеют беленькие и голубые хатки. Люди на нашей улице, кроме хлеборобства, имеют еще и ремесло в руках: столярное, сапожное, колесное, бондарное, мельничное.

Среди мастерового люда больше всех славился мой дед Демьян, которого знал весь уезд. Чего только не умел мой дедушка! Нужно где-то сделать соломорезку, крупорушку, нехитрый передаточный механизм или просорушку — играючи сделает, были бы только железо, дерево и к вечеру добрая чарка монопольки. А хотите ветряк — так и ветряк выстроит под самые облака; в кузнице скует топор, в стельмашне смастерит телегу и сани, да еще и деревянные цветы разбросает по ним.

Железо и дерево прямо пели под руками деда — пока сила не ушла из этих рук. Мог он немудреным инструментом вырезать и простого человека и святого. Соседи не раз, смеясь, вспоминали, как он на заказ сделал нашему пану из дерева фигуры апостолов Петра и Павла. Они вышли не постными святошами, а могучими веселоглазыми бородачами, которым приятно держать в руках и книгу и ключи от рая.

Некоторое время бабуся по вечерам обходила сарай, где стояли святые, опасаясь, что они вдруг заговорят с ней, а люди узнавали в них наших славных дедов Дебелюка и Марущака. Фигуры закрасовались перед входом в барский дом, а жадюга пан, привыкший все иметь «на дурнычку», не заплатил ни гроша бывшему крепостному. Дед как-то напомнил вельможному про плату, но тот лишь расхохотался и сквозь смех сказал:

— Так это же, Демьян, большая честь, когда пан должен мужику! Разве тебе этого мало?

Тут мой дед и показал свой норов: ночью выкрал у пана апостолов и распилил их на дрова. Утром около нашего двора уже толпились люди, рассматривая валявшиеся возле сарая головы, бороды, туловища и ноги святых. Когда мастера упрекнули за то, что он так расправился с апостолами, дед махнул рукой и сказал:

— Не порежь, так снова будут стоять около панского дворца, чтоб там одно горе стояло!

Вскоре приехал за фигурами разгневанный пан со своими гайдуками. Увидев, что творится на дворе масте-

ра, он выругался на нашем и на чужом языке да подался к батюшке с жалобой на богохульство. Святая церковь наложила на деда епитимью: он должен был какое-то время в каждый, даже самый маленький, праздник ходить на все богослужения. Тогда дедусь выбрал себе самых лучших святых и около них выстаивал — Юрия и Илью,— кто же не знает, что Юрий ненавидел змей и панов, а Илья громовыми стрелами бил чертей и перетапливал бесову шерсть и мясо на смолу?

Напевая, я добегаю до двора дядьки Миколы, которого прозвали Бульбой. Он как раз стоит, широко расставив ноги, около загона и колет дрова. Дядько Микола рыжий, курносый и небольшого роста, но зато усы у него вымахали, как у гетмана, а под ними то прячется, то разгуливает усмешка. Жил дядько Микола хоть и бедно, зато весело: он никогда не унывал, а, наоборот, умел так прихвастнуть, чтобы еще кто-нибудь веселее поглядел на мир.

Сеял, например, он десятину ржи и уже наперед прикидывал:

— Соберу с этой десятины верных двадцать копен, каждая копна даст по двадцать пудов, это выйдет чetyреста, да еще с гаком. Так не пора ли уже сейчас строить новый амбар?

Но оказывалось, что уродило на десятине только восемь верных копен, каждая дала восемь пудов, и когда дядьке Миколу об этом говорили, он, ничуть не огорчаясь, объяснял:

— Разве я виноват, что погода не послушалась ни бога, ни меня? Только из-за нее недобрал я немного зерна, зато полова какая: хоть сам ешь, хоть посоли и попадью корми! Имел бы я корову, так на этой половине она б не молоко давала, а одну сметану.

— А может, сразу масло,— шпыняла тетка Лукерья: она не очень одобряла похвальбу мужа.

— Вот этого, жинка, уже не может быть: масло через коровий сосок не пролезет,— уточнял дядько Микола.

— А, чтоб тебя...— И улыбка смывала с пожелтелого лица тетки следы недовольства.

Даже в страшный 1933 год, голодая, дядько Микола подтрунивал над своей бедой. Встретил я его весной, уже опухшего, разговорились про людское горе, вспо-

мнили соседей, что преждевременно перекочевали на погост, погоревали, а про себя он сказал:

— Нам с Лукерьей что? Хлеба нет, зато имеем вволю мяса: у меня ж скотины несчетно было! — В его глазах, обведенных тенями голода, появилась прежняя усмешка жизнелюба, а в моих — слеза...

Не знаю почему, но в селе поговаривали, что дядько Микола будто нашел перо жар-птицы...

Сейчас дядько Микола как-то очень аппетитно раскалывает березовые и грабовые кряжи. Делает он это так: поднимет над головой колун, замахнется, скажет «гех» — и дерево разваливается надвое, и снова «гех» — и опять на землю летят половинки. Широкая, в мелкую сборку свита раскачивается в такт ударам.

Я прислушиваюсь к геханию и начинаю усмехаться.

— Ты чего это, помощничек, зубы скалишь? — удивляется дядько Микола.

— А чего вы каждый раз гехаете?

— Чего? — косит на меня дядько глазами и усами. — Разве ты не знаешь?

— Не знаю.

— Эге, плохие твои дела.

— Плохие, но не очень... Так чего?

— Без «гех» дерева не осилишь.

— Да ну?

— Не веришь — попробуй! Становись на мое место.

Я так и делаю, беру колун, замахиваюсь — и он застревает в кряже.

— А что я тебе говорил, — наливается насмешкой курносый нос дядьки Миколы. — «Гех» в хозяйстве — первое дело, на нем все дровосеки держатся...

— Дядько, а это правда, что вы нашли перо жар-птицы? — неожиданно выпаливаю я.

— Ого, какой ты любопытный! — Дядько Микола оглядывается, в глазах и на всем лице его настороженность и таинственность.

Ну кто бы после этого не догадался, что дядько на самом деле нашел перо жар-птицы, только не очень хочет рассказывать об этом. И снова ко мне приходит чародейство сказки. Я тоже оглядываюсь на огород и улицу, всем своим видом показывая, что я верный сообщник, и тихонько-тихонько с надеждой спрашиваю:

— Дядько, так вы все-таки нашли это перо?

— Ну да, нашел,— шепчет дядько, заговорщицки прикладывает палец к усам, а одним глазом косит на улицу. Но сейчас на ней, кроме табунка черных, ночевавших в трубе воробьев, нет ни души.

— И что ж вы с ним делали? — звенит что-то у меня внутри.

— Что? Когда в хате все засыпали, я при свете пера жар-птицы шил людям сапоги.

— Шили сапоги? — переспрашиваю разочарованно; и видения сказки покидают меня.

— А что же делать, раз не было другого света? — сразу запрыгали усы на покрасневшем от смеха лице дядьки.

Раз так, то и я начинаю усмехаться, да еще и укоризненно покачивать головой, чтоб дядько Микола не очень думал, что так просто и поверили ему. А сказки все-таки жаль...

Вскоре мы вдвоем идем к нам, и дядько вкусно рассказывает, каких он купит лошадок: ни у кого не то что в селе, а даже в Литине и за Литином не будет похожих ни по красе, ни по силе. Такую скотину дядько назло врагам собирается приобрести не впервые, да все почему-то откладывает покупку. Он объясняет это тем, что пока не может подобрать в самую точку масти, а соседи говорят, что в дядькином кошельке еще не насвистелся ветер. Вот когда насвистится, тогда объявится та самая масть. Но все равно дядько Микола не считает себя бедняком. Даже когда его имущество записывали в сельсоветские книги, дядько доказывал, что он не бедняк, а среднего достатка крестьянин.

— Что ж ты «средне»-то имеешь,— усмехнулся дядько Себастьян.— Жену и детей?

— Вот считай, Себастьян! — И дядько Микола начал загибать пальцы сначала на одной, а потом на другой руке.— Хата есть, в хате кладовка, во дворе клуня, сарай. И ступу, и ручную мельницу имею, и гуся, и петуха-галагана, и целый двор кур, еще больше яиц да сапожное ремесло в руках.

— Вот это насчитал! Теперь тебя можно записать и в богачи! — даже пританцовывал от смеха дядько Себастьян...

У нас дома дядько Микола достает из кармана очки, цепляет их на самый кончик носа, но письмо читает, не

заглядывая в стекла; теперь даже усы дядьки становятся серьезными.

Я очень радуюсь, что мой отец жив и здоров, а дальше меня подмывает смех — в каждом письме одно и то же: «А передайте еще поклон до самой сырой земли моему близкому родственнику Гнату, сыну Данила, который взял Оляну, дочку Петра с Микитова двора. Пусть ему легко живется и хлеб жуется».

Я представляю себе, как высоченный дядько Гнат, сын Данилы, сидит себе на скамейке и уминает хлеб, и мне хочется прыснуть. Но как тут засмеешься, когда батьковы поклоны выбивают из маминых очей влагу, а дед и бабуся растроганно покачивают головами и ша-перед угадывают, кому дальше должен следовать поклон. Поэтому и я, вздохнув, сжимаю губы и тоже начинаю покачивать головой. У меня это выходит быстрее, чем у старых, но я замечаю, что усердие мое как-то настораживает их, и, чтоб не отхватить укоризненного словца, начинаю внимательно прислушиваться к новым, снова-таки до самой сырой земли, поклонам. Но вот и им приходит конец. Мать краешком платка вытирает глаза и спрашивает чтеца, постится ли он.

— Если у тебя есть панская белорыбица или красно-рыбица, так могу и попоститься,— с достоинством отвечает дядько Микола.

Все смеются, а мать кидается к печи, чтобы чем-нибудь попотчевать гостя. Я тоже ворон не ловлю: подхожу к припечку и умоляюще гляжу в подобревшие мамины глаза.

— Ну чего тебе, Михайлик? — тихо, ласково спрашивает мать и гладит рукой мою голову.

— Ничего, мама,— почему-то задрожал у меня голос.— Вот если б батько поскорее приехал.

— Соскучился по нем?

— Соскучился. Мама, а может такое быть, что батько и сапоги привезет мне?

— Вряд ли, Михайлик, ой, вряд ли, хоть бы душу привез, и то хорошо будет,— она озабоченно поглядела в окно.

— А что?

— Неспокойное время, да, может, как-то обойдется... Ты чего-то хочешь?

— Пустите меня погулять.

— На улицу?

— Куда-нибудь,— говорю неопределенно, потому что сам надеюсь махнуть в лес. Но об этом лучше не заикаться: сразу скажут, что там еще есть бандиты.

— Как же мне быть с тобой? — немного проясняется лицо матери, и это уже недурная примета.— Ну скажи, сорванец, что делать с тобой?

— Что? Пустите, и все.

— Пустить, говоришь? — укоризненно качает головой мать.

— Ну да! — радуясь, обхватываю мать руками и умоляюще смотрю на нее снизу вверх.

Это, вижу, матери нравится, она внимательно всматривается в меня, говорит, что я лопухий, с чем я охотно соглашаюсь, потом застегивает пуговку на рубашке и машет рукой:

— Кати уж, прилипала, смотри не порви мои последние сапоги, не молоти ими, как цепом, землю, не влазь по уши в лужи и канавы, не дразни по всем углам собак и не лезь в драку...

— Хорошо, мама! — уже из-за дверей охотно соглашаюсь я и сразу же забываю все, чего нельзя мне делать, потому что впереди воля до самого вечера!

Когда я пулей выскакиваю на улицу, из-за соседского плетня слышу лукавое и въедливое «ги». Так может приветствовать меня только Петро Шевчик. Какой только каверзы не припрятано в этом «ги»! Хотя мы с Петром одноклассники, он считает, что ему нужно старшинствовать надо мной, потому что в прошлом году он пас уже трех коров, а я только вертелся около деда и его ремесла да, когда требовалось, пас нашу серую, плешивую от старости кобылу; из-за нее не раз поднимала меня на смех пастушня. Во-первых, наша лошадь была вымогательницей: не покорми ее из рук чем-нибудь вкусным, ни за что на нее не сядешь, во-вторых, никак ее не удавалось пустить в галоп, а попробуешь — того и гляди, за ногу укусит. И поэтому на перегонах я всегда оставался позади всех и только мечтал о том времени, когда буду ездить на настоящем коне...

Из-за плетня Петро свысока — этому научился он у старших пастухов — оглядывает меня и снова говорит «ги».

Я уже понимаю, куда ветер дует, но с сочувствием спрашиваю его:

— Давно это на тебя гикалка напала?

— Да нет, как только тебя увидел,— посмеивается Петро и глазами прочесывает мои сапоги.— В маминьки обулся?

— Когда-то были маминьки, теперь мои.

— Твои?

— Ну да! Мама себе купила новые, а эти мне достались по наследству.

— А ты, часом, не брешешь? — Темное лицо Петра становится озадаченным: он и верит и не верит мне.

— Сбегай да спроси, хата моя вот,— небрежно указываю пальцем на боковую стену.

— Хм, посчастливилось тебе,— уже завистливо говорит Петро, хотя, казалось бы, чего ему завидовать, когда у него всамделишные сапоги, сшитые на его ногу.

— Петро, давай махнем в лес.

— Чего мы там еще не видали? — подозрительно смотрит он на меня.

— Чего? — ловлю глазами синюю дубраву, что словно купается в весенней воде.— Увидим лес, и довольно.

— Нашел чем удивить: что ж это я, сроду такого добра не видел?

— Ну как хочешь,— собираюсь бежать.

— Подожди! — Петро, немного помедлив, перелезает через плетень, становится впереди меня и уже властно командует: — За мной!

— Вот это хорошо, что ты впереди пойдешь,— невинно говорю я.

— А почему ж хорошо? — из-за плеча недоверчиво озирается Петро.

— Потому что мои сапоги суше будут.

— Хитрый какой! — насупился Петро.— Сначала я пойду впереди, а потом ты!

Мы минуем липовый шлях и оказываемся в лощине, по которой весело бегут ручейки. Напевая, они озабоченно торопятся и к прудам, и к левадам, и на Медвежью долину, где извивается речушка. Она еще спит, а ручейки уже бьют в бубны и вытанцовывают на ее льду. И мы начинаем танцевать, и сейчас все командирство сползло с разгоревшегося лица Петра. Как



только не выламывается он на льду, изображая танцующих дядьку Миколу, тетку Настю, дядьку Ермолая, что, подвыпивши, выбивает ногами, как колодами, еще и приговаривает: «Го-то-то, го-то-то!» У нас обоих уже мокры не только сапоги, но и штаны и куртки.

Неподалеку треснула льдина.

— Слышишь? — пригнувшись, таинственно спрашивает Петро.

— Слышу.

— А знаешь, что это?

— Нет.

— Это щука хвостом лед разбивает.

— Такой у нее крепкий хвост?

— Как железо! Это сейчас небольшая ударила, а то, бывает, здоровенная как махнет, так и выбьет полынью, а из нее вот такенный хвостище проглянет. Иногда, если посчастливится, рыбак прямо за хвост выхватывает ее на берег.



Мы прислушиваемся к речке. И снова трещит где-то за вербами. Там тоже ударила хвостом щука, верно небольшая, потому что полыньи не пробила.

Веселые и мокрые, мы входим в лес. В нем по верхушкам деревьев и низом гуляют шумы. Это, видно, в ожидании весны говорит душа леса. Хоть я и очень люблю лес, но побаиваюсь его души: она, если рассердится, заведет меня в такие дебри, где люди не ходят, где топор не гуляет.

А еще я люблю, когда из леса неожиданно вынырнет избушка, заскрипят воротца, побегут дорожки к саду и на пасеку. И люблю, когда березовый сок капает из желобка, он так славно выстукивает «тьоп-тьоп», что непременно завернешь к нему и присядешь на корточки. Люблю напасть на лесной родничок и глядеть, как вода колесом выкручивается из глубины. И люблю, когда грибы, обнявшись, как братья, собирают на свои

шапки росу, и люблю осенью бродить по колени в листьях, когда так славно краснеет калина и пахнут опенки.

Я охватываю обеими руками березу, прижимаюсь ухом к ней, но она молчит, потому что еще не оттаял под корою сок, еще мертво в лесу. На верхушке березы крикнула сойка, блеснули на ее крыльях зеркалаца, и Петро спросил:

— Знаешь, почему сойка никак не может долететь до теплых краев?

— Почему?

— Потому что в голове у нее не хватает одной клепки: летит день, а потом непременно хочет узнать, сколько ж верст она отмахала, и летит назад.

— Хм,— удивляюсь я и прислушиваюсь к песенке, которую сойка бессовестно украла у какой-то пташки. Сойка лукавая птица: наловчилась истреблять мелких птичек и их же голосом веселить себя.

— Заяц! Заяц! — кричит Петро и бросается к оврагу.

Между деревьями, не очень пугаясь нас, проскакивает отошавший за зиму ухан и исчезает в лесу.

— Вот если б ружье было! — жалеет Петро.

А я нисколечко не жалею, потому что очень не люблю, когда домой возвращаются охотники, а за их поясами покачивается окровавленная дичь. И чем только провинился перед людьми тот бедный заяц?!

Я нагибаюсь над кружочком ноздреватого снега, зеленоватым воротником охватившим молоденький бересклет. Что-то, как пальцем, проткнуло снег, я разгребаю его и вижу нежную, еще не раскрывшуюся головку подснежника. Это он надышал дырочку в снегу и потянулся к солнцу. Выходит, уже не мертвый лес, потому что лебеди принесли на своих крыльях весну и жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дед уверяет, что из меня что-то получится, бабуся охотно с ним соглашается, а мать — когда как; чаще всего она покачивает головой и говорит совсем не то, что хотелось бы мне:

— Может, из него и будет какой-нибудь толк, если бестолочь вот оттуда выйдет,— и пальцем тычет в лоб.

Но бестолочь «вот оттуда» не очень спешит выйти, ей, видно, понравилась моя «макотра», в которую почему-то попали не прямые, а «крученые» мозги. Взрослые начисто все видят, что есть и чего не хватает в голове малого. Вот и теперь, по их мнению, в моих мозгах крепко засела бестолочь. Не подумайте только, что я уж такой упрямый или какой-нибудь баламут. Я не очень-то морщусь, когда надо что-нибудь делать, охотно помогаю дедусю, пасу нашу вреднющую кобылу, рублю дрова, с наслаждением точу сапки, люблю с мамой что-нибудь сажать или расстилать по весенней воде и траве полоотно, без охоты, но все же понемногу тюкаю сапкой в огороде и не считаю себя лодырем.

Но есть у меня, если послушать одних, слабость, а если поверить другим, дурость; именно она и является причиной всех моих волнений и бед.

Я как-то быстро, почти без всякой помощи, научился читать и в свои девять лет сумел проглотить немало всякого добра и хлама, который еще не успели докурить в селе. Читал я и «Кобзарь», и «Ниву», и сказки, и какие-то без начала и конца романы — «Заднепровская ведьма, или Черный ворон и окровавленная рука», «Три дамы и бубновый валет», а также разные книжечки, изданные петлюровцами, сечевыми стрельцами и Красной Армией. И уже тогда одни слова светили мне, как звезды, а другие туманили голову.

В какой-то без начала и конца книжонке я, например, вычитал, как одичал один человек, покинувший город. Я ожидал приключений, подобных «Робинзону Крузо», но последующие страницы глубоко ранили мое сердце: крайняя степень одичания этого горожанина выразилась в том, что он, поселившись в степи, стал пахать, сеять и даже смазывать свои сапоги дегтем. Я тогда не представлял себе, чем, кроме дегтя, можно смазывать обувь. Я знал только, что сапоги — это уже роскошь: в ту пору дубильщики за кожу сдирали семь шкур, и хорошие сапоги обходились в двадцать — двадцать пять пудов зерна. А пахота, особенно весенняя, считалась святым делом.

Я помню, как торжественно провожали в поле первых пахарей. Когда они вечером возвращались домой, их встречали старые и малые. И какая ж это была радость, если пахарь доставал тебе из торбы кусок зачер-

ствевшего хлеба и говорил, что он от зайца. Это был самый вкусный хлеб моего детства. А разве не праздником становился тот день, когда ты сам брался за плуг и проводил свою первую борозду?.. И до сих пор из глубины лет слышится мне голос отца, который в одно пасмурное утро поставил меня, радостного и взволнованного, к плугу, а сам стал около лошадей. Дома он так рассказывал: «Тучи идут на нас, гром обваливается над нами, молнии падают перед нами и за нами, а мы себе пашем и пашем поле».

Из щедривок, которые зимой пелись под окнами добрых людей, я знал, что за плугом даже сам бог ходил, а богоматерь пахарям еду носила... Поэтому и теперь, когда я далеко в поле различаю силуэт женщины, которая несет обед уже не пахарю, а трактористу или комбайнеру, в моей душе трепетно сливаются давние легенды с сегодняшним днем...

А это книжное презрение к селянину и его кровному труду впервые породило во мне отвращение к спеси, где бы ни ощеривала она своей пасти — в буднях жизни или в книге, где взлелеянное слово должно быть настоящим праздником души и мысли. Я мало тогда встречался с сокровищами человеческого духа, но грешно было бы хулить то время — оно было по-своему прекрасно...

Когда я, забыв обо всем на свете, прикипал к раздобытой книге, мать всякий раз сердилась на меня:

— Святой дух с нами! И что это за парень! Опять припал, как околдованный. Да опомнись же ты наконец, а то сейчас все полетит в печку!

Правда, в печь она так и не кинула ни одной книжки, но, когда я читал, не сводила с меня глаз, побаиваясь, чтоб чтение не повредило ее ребенку.

— Мама, а что может повредить?

— Что?.. А я откуда знаю?

— Так чего ж такое говорите?

— Потому что люди говорят... Вот прочитал один умник всю до капельки Библию и остался с пустым черепком,— указывая пальцем на лоб, пугает она меня.

— Я ж Библии не читаю.

— У тебя, ветрогон, ума хватит и до нее добраться.

Я знал, что когда дело доходит до ума, так уж лучше помолчать...

Днем, даже зимою, я еще мог так-сяк хитрить, но вечером плохо было мое дело: мать, сотый раз помянув оглашенного читальщика, задувала коптилку, и я уже в темноте должен был додумывать про какого-то князя или графа, сразит ли его «роковая пуля» или «стрела купидона».



Из-за этой поганой, заправленной бензином коптилки, которая все время пытела и грозилась взорваться, я очень сердился на мать и наконец придумал, как перехитрить ее. Когда в хате все, кроме сверчков, засыпали, я на цыпочках подходил к печи, вытаскивал уголек, раздувал его и зажигал коптилку. На печи я так ее упрятывал, чтобы свет не падал в хату. И вот теперь ко мне стекались цари и князья, запорожцы и стрельцы, черти и ведьмы.

Тогда в селах и вокруг них еще жила всякая нечистая сила, она, как могла, измывалась над крестьяни-

ном, его скотом и посевами. И когда ктонибудь ловил черта или ведьму, уж не миловал их. Ведьме, как правило, рубили руку, чтоб она не сдаивала коров, а черта чаще всего запрягали в плуг и на нем пахали до тех пор, пока он не скопытится. Больше всех в нашем селе воевал с нечистой силой дядько Микола. Где он только не ловил ее! И в трубе, где бес встречался со своей размалеванной сажей полюбовницей-ведьмой, и в кладовушке, где бессовестный черт лакомился салом, и в верше, куда забирался он лопать на дармовщинку рыбу, и под мостом, и в дуплистых вербах, и в камышах. И хотя нечистая сила по-всякому мудрила, как перехитрить своего врага, из этого ничего не выходило: дядько Микола всегда оставался победителем. За свою жизнь он столько поотрубивал у нечисти хвостов, копыт и рогов, что все это не уместилось бы на возу.

— Если бы на этот товар покупатель нашелся, денег у меня было б больше, чем мусора,— похвалялся дядько Микола.

А жена его, слыша такое непотребство, и плевалась, и поднимала руки к образам, и грозила ему кулаками.

Я не был таким храбрым, как дядько Микола, и не имел его топора, поэтому по ночам дрожал и замирал над сказками, из которых, как из мешка, так и сыпались всякие ужасы. И вот когда сердце уже останавливалось от страха, неожиданно приходило облегчение: где-то совсем неподалеку глухую ночь проклевывали голоса петухов. Поэтому я и теперь люблю ту пору, когда петухи своими крыльями прогоняют тьму и нечистую силу, а пением начинают новый день.

Спустя некоторое время мать догадалась о моих хитростях с коптилкой. И виноват в этом был я сам. Из какой-то страшнющей сказки на мою бедную голову вытряслось столько чертей, болотных и водяных, что они, обнаглев, стали выглядывать изо всех щелей, высовывать языки и даже летать по хате. Я неосторожно глянул на жердь над постелью, увидел на ней черта и вскрикнул. Правда, сразу же выяснилось, что то был не черт, а черные дедовы штаны. Но ошибка дорого стоила мне: мать стала на ночь запирает коптилку в сундук, куда я уж никак не мог добраться.

Так впервые нечистая сила пыталась разлучить меня с печатным словом. Но это было не худшее. Более страш-

ное началось значительно позднее, когда нечистая сила разбирала мои книги, и не прощала, и в каждой строке выискивала враждебные настроения, разную апологетику, отклонения, крестьянскую ограниченность, мелкособственнические тенденции и еще какую-то погань...

Дядько Микола, как иногда не хватало вашего топора, чтоб обрубать хотя бы хвосты той нечисти, что залазила в слово, как червь в яблоко!

Но вернусь к злосчастной коптилке.

Несколько дней я так и сяк подбирался к сундуку, подыскивал ключи, но ничего из этого не выходило. Однако я не надолго пал духом. Вскоре мне пришлось на ум смастерить свою коптилку. Делал я ее весело, быстро и просто: дедовой ножовкой отчекрыжил донце французского патрона, снизу в шейку втянул фитиль, все это пропустил через сердцевину кукурузного кочана и наглухо заткнул им небольшую жестянку с бензином. Не знаю, была ли довольна мать своей выдумкой, а я своей очень! Мать заметила, что со мной что-то делается, недоверчиво потрогала замок сундука, а я, чтобы не прыгнуть, выскочил из хаты.

Но сделать коптилку было куда легче, чем достать книгу. В поисках ее я обшарил чуть не все село, лишился своих жалких детских накоплений, забирался даже в клуню, где неслись куры. Так я познакомился с меновым хозяйством еще в двадцать первом году.

На ярмарке за тоненькую книжечку «Три торбы смеха» я отдал бессовестному лавочнику пять яиц, найденных в гнездышке той самой Пеструшки, что всегда норовила втихомолку вывести цыплят. Очень уж мне хотелось посмеяться. Но недаром говорится: «Даст бог купца, а черт гонца»: кто-то поспешил рассказать про этот торг матери, и дома три торбы смеха обернулись семью печалями. Вот так и узнаешь, что смех и грех живут по соседству...

Больше всего над тремя торбами смеха потешался мой дальний родственник Гива. Услыхав об этой коммерции, он так затанцевал у себя на току, что запрыгали все его кудри, которым постоянно было тесно под шапкой. Я хорошо знал, как дразнить Гиву: под бараньей шапкой — бараньи кудри. Но на этот раз ничто не могло рассердить парня.

Его удивленные глаза, что уже в четырнадцать лет с веселой недоверчивостью глядели исподлобья, сейчас слезились от смеха.

— Вот это коммерция так коммерция, — вытанцовывал Гива с шапкой в руке и никак не мог взяться за цеп. А за это малому молотильщику еще как могло влететь.

Гивины родители очень хотели разбогатеть, но так, чтоб люди думали, что они беднее нищих.

Проклятая погоня за богатством научила их не беречь ни себя, ни детей своих, ни скотину, ни слово, которое где надо и не надо хитрило, криводушничало и беднялось.

— Разве ж это волю, — махал рукой на свою добрую скотину дядько Владимир. — Это не сила, а кости и болезни, зашитые в шкуру, зря только харч перевозу.

Люди всякий раз слышали, что у дядьки Владимира меньше всего родит копен в поле, стогов на лугу и картошки в огороде, в глаза сочувствовали ему, а за глаза смеялись. Чтоб к нему меньше заглядывали соседи и непрошенные гости, осторожный дядько хитро приладил на сенных дверях клямку: когда закрываются двери, клямка снаружи сама заходит на тычок, и всем видно, что никого дома нет. Когда у дядьки Владимира кто-нибудь просил в долг, он сначала становился глухим, а потом молчал или такое молол, что хоть святых выноси. Даже в 1921 году, когда люди орудовали миллионами, у дядьки Владимира, как он говорил, не было за душой и щербатой копейки.

— Куда ж вы их, Владимир, деваете — солите, квасите или свежими поедаете? — иногда за чаркой допытывался дядько Микола.

Тогда дядько Владимир оторопело съеживался, задышался от возмущения или долго добывал из себя «э-э-э» и защищался поднятой закорючкой указательного пальца.

Но дядько Микола знал, как можно оборвать и это «э-э-э». Он невинными глазами смотрел на дядьку Владимира, покачивал головой, а потом наклонялся к его уху:

— А по селу, понимаете, пошел слух, что вы деньги мерками меряете.

Тут дядько Владимир сразу краснел как рак, хватался за шапку и бежал домой.

Интереснее всего было послушать где-нибудь в компании разговор дядьки Владимира с дядькой Миколой. Первый, выпив чарку, еще больше беднел, а всамделишный бедняк дядько Микола становился богатым, как царь. Да он и похож был на последнего нашего императора, только усы были у него длиннее и душа шире.

— Разве в этом году жито? — подпирая рукой голову, так печалился дядько Владимир, что, казалось, слеза вот-вот капнет в миску с варениками.— Одна половина да солома, а не жито.

— А у меня ж уродило, хоть охалками зерно, как дрова, клади,— не моргнув глазом, говорил дядько Микола.— Давно в моем амбаре такого рая не было.

— Везет же некоторым,— на широком лице дядьки Владимира откровенная зависть.— А тут аж в глазах темно: одна беда идет со двора, а новая входит в ворота. Ничего тебе нет ни от месяца, ни от солнца, ни от коровы молока, ни от свиньи копыт. Даже моя черная подвела: опоросилась и задавила приплод.

— Неужели весь задавила?— чистосердечно удивляется дядько Микола, будто и не знает, что Владимира свинья придавила только одного поросенка.

— Представьте себе, весь, до последней щетинки,— еще больше печалится дядько Владимир и закатывает глаза.— Да и сколько тех поросят было? У меня и свиньи норовят перейти на коровий приплод.

У дядьки Миколы брови хитровато подпрыгивают вверх и дрожат от скрытой радости:

— А моя рябая, понимаете, как крольчиха: если не четырнадцать, то шестнадцать приведет, и все как линьки.

— Шестнадцать?! — изумленно вскрикивал дядько Владимир.— Да что вы, Микола! Да не может быть!

— Разве далеко ходить — спрашивайте моих соседей. Они тоже все завидуют мне, как вы. Да что соседи — помещик из Литина приходил, кошельком полдня тряс над моим ухом, всю деньгу отдавал за мою свинью, а я ее и за мешок червонцев не продам.

— Гм... Везет же вам, да еще как везет: само счастье над вами мешком трясет.

— Вот этого я уже не видел. А чего не видел, говорить не буду,— пускал дядько Микола плутовскую усмешку в усы.

— А куда ж вы деваете своих поросят? — не терпелось дядьке Владимиру.

— И на рынок вывозим, и сами едим — у меня все как-то привыкли к этому. Каким бы я был хозяином, если б вставал или ложился без поросятины?

И все, кроме дядьки Владимира, начинали смеяться, потому что знали, что на завтрак и ужин у дядьки Миколы исходила паром одна картошка...

Владимировы дети были совсем другого нрава и где можно подсмеивались над жадностью своих родителей. Вот и сейчас Гива припал к щели забора и тихонько засмеялся:

— Пошел мой батечка с горохом на рынок, вернется только вечером.

— Почему ж вечером?

— Так он раньше никак цену не сложит на тот горох, будет просить за него, как за черный перец.— И молотильщик начал загонять кудри в шапку.— А тебе не хочется на рынок?

— Перехотелось. Наторговался,— хмуро говорю я, вспоминая злосчастные «Три торбы смеха».

Гива пристально поглядел на меня и рассудительно сказал:

— А твоей беде, если крепко подумать, можно помочь.

— Поможешь, как же, если в кармане и ветер не хочет свистеть,— безнадежно вздохнул я.— Нашел новое гнездо Пеструшки, а под ней, хитрюгой, уже цыплята проклюнулись.

— И ты не отнес их лавочнику? — засмеялся Гива.

— Нет, побежал в хату. Вот радость была! Мать уже думала, что хорек или собака съели Пеструшку.

— А ты очень хочешь иметь книжки?

— И не спрашивай,— погрустнел я.

— Так мы разживемся,— запрыгали бесенята в насмешливых глазах Гивы.— Вот я тебе на пасху настоящую коммерцию устрою.

— На пасху?

— Ну да. Тот самый рыжий черт, что продал тебе «Три торбы смеха», на пасху берет не только целые крашеники, но и побитые: он очень любит лакомиться яйцами — крошит их в миску, посолит и ест ложкой, будто кашу. Сам видел!

— Ну и что с того? — никак не пойму, куда тянет Гива веревочку.

— Что? Вот за пасхальные битки и накупишь себе книг.

— Где ж я этих биток наберу?

— Натолчем около церкви! — уверенно говорит Гива. — Я тебе к пасхе сделаю вощанку, и ты раздобудешь целую торбу крашенок, да что торбу — целехонький мешок!

— Не нужно мне мешка.

— Ну, это уж сам смотри, сколько тебе нужно. Главное, я тебе устрою настоящую коммерцию, а не то что твои три торбы, — снова засмеялся и махнул цепом Гива.

В пасхальный четверг мы в нашей клуне втихомолку принялись за работу. Гива осторожно цыганской иглой просверлил в яйце дырочку, воткнул туда стебелек метлицы и высосал белок с желтком. Потом мы уже в Гивиной хате разогрели комок воска и, щипая его, раскатали тоненькие-тоненькие ниточки. Ими мы наполнили пустое яйцо и поставили его носиком вниз около огня. Когда воск растопился, яйцо охладили, покрасили и загордились: вощанка вышла на славу! Берегитесь теперь, лавочниковы книги, не миновать вам моих рук!..

Вот и пасха сверху зазвонила во все колокола, а внизу расстелила веснянки. В церкви выстаивала старость, около церкви встречались молодость и любовь и тут же развилось наше детство.

У церкви под могучими ясенями я встретился с Гивой. Он вскинул ресницы и брови, покосился на мою вощанку и шепотом спросил:

— А мешок захватил?

— Для чего?

— А куда будешь битки класть?

— В карман.

— Э, нет у тебя, как говорит Юхрим, соображения ума. Сколько ж ты в карман положишь? Да и потолкуются они там в кашу. Я хотел тебе настоящую коммерцию устроить, а ты... — И он недовольно отворачивается к своим товарищам.

Первым ко мне подскочил Миколин Иван. Он крепко зажал в руке яйцо, выкрашенное отваром ольховой коры, и живо спросил:

— Потолкаемся?

— Да нет, подожду, — неохотно говорю, потому что разве можно обидеть своего соседа? Как-никак, а у меня же вощанка.

— Кого ж ты ждешь? Может, вчерашнего дня? — смеется Иван. Он уже успел набрать полный карман биток. — Может, дрожишь над своей крашенкой? — показывает одним глазом на мою вощанку.

— Чего мне дрожать?

— А может, она тебя родила? — хихикая, допекает приземистый Иван, а возле его задорного курносого носа пробиваются и исчезают две ямки.

Я начинаю заводиться:



— Если так, держи свою!

— Держу и дрожу! — смело подставляет он зажатую в кулак писанку.

Я слегка бью по Ивановой крашенке, но ни его, ни моя не поддаются. Тогда я бью сильнее — и паучки трещин расползаются и по моей и по его вощанке. Мы сперва с сожалением глядим на результат своих ухищрений, а потом начинаем смеяться — Иван веселее, чем я, потому что сразу пропала моя надежда на книжки, которые лежат себе среди гвоздей, синьки и красок, не зная, как по ним тоскует чья-то душа. Даже настоящая Гивина коммерция не помогла. Вот уж не везет так не везет!

Поэтому и пришлось мне сегодня обратиться к бывшему писарю Юхриму Бабенко, которого люди за глаза звали пройдохой, шалопутным, слизняком и распросучьим сыном. Однако это не мешало Юхриму считать себя самым умным в селе и ждать, пока пробьет его час. Он все старался вырваться хоть в какое-нибудь начальство и, где мог, исподтишка кусал и оговаривал тех руководителей в свитах и шинелях, которые, едва умея расписаться, в революцию расписывались за новую власть своей кровью. Единственное, что было хорошего у Бабенко, так это почерк. Просто удивительно, как такие красивые буквы вмещали разную погань, что выкручивала Юхримова голова.

Сейчас Юхрим, кичась писарской ученостью, красуется среди парней, грызет семечки и подсмеивается над девушками, которые с песнями «садят Василя». Это только в песне так может быть, что в первый час девушка сажает цветок любви, во второй час — поливает, а в третий — уже срывает цветок для своего венка молодости и в нем идет к суженому.

— Дядько Юхрим,— с опаской трогаю старого парубка за непростецкие, мудреного покроя галифе, в которых уместилось бы по доброму поросенку. Тогда как раз пошла у нас мода на галифе — чем шире, тем красивей.

— Ты языком говори, а рукам свободы не давай: они у тебя земляничным мылом не пахнут.— Юхрим предостерегающе поднимает палец правой руки, а левой поправляет свои обиженные галифе.— Чего тебе, нечестивец? Может, по параграфу похристосоваться хочешь?

— Нет,— растерянно смотрю на округлые щеки и поджатые губы Юхрима.

— Так чего ж ты приперся? Какое соображение имел? — Он сам с удовлетворением слушает свою речь.

— У вас книжки есть?

— Прочетные или с размышлениями?

— Нет, может, есть без размышлений...

— Все у меня есть, но что тебе до того, желторотый? Сватами ж мы, как я понимаю, не можем быть.

— А чего ж? — смелею я.— Может, на чем-то и сойдемся?

— Разве что на ремешке,— веселеет парень.— Со-скупился, натурально, по нем?

— Не очень. И какие у вас есть книжки?

— Возможные и даже невозможные,— что-то вспоминает Юхрим и гиккает.— Но я знаю, что тебе больше всего подойдут «Приключения Тома Сойера». И они есть у дядьки Юхрима.

У меня даже в груди екнуло, столько я слышал о тех необычайных приключениях и вот теперь попал на их след. В моих глазах мольба, и я подделываю свои слова под Юхримовы:

— Дядько, а вы мне, натурально, не можете дать «Приключения Тома Сойера»? Возможна или невозможна такая возможность?

Но старание только повредило мне: Юхрим сразу надулся, а голос его заскрипел, будто калитка.

— Насмешечки, заводила, начинаешь сооружать над старшими? Где ты взялся, такой верченый? Гляди, чтоб сейчас кисло тебе не стало!

— Какие насмешечки? Что вы, дядько! Разве можно насмеяться над старшими, да еще на пасху?

Слова мои были, вероятно, такими чистосердечными, что Юхрим немного успокоился.

— Есть же такие невоспитанные, что не имеют ни понятия, ни элеганции, а только и соображают себе насмешечки.

— Конечно,— соглашаюсь я.— Так дадите мне «Приключения Тома Сойера»?

— А для чего они тебе?

— Читать.

— Читать? — пожимает узкими плечами Юхрим, будто я что-то несусветное сказал, и выбирает из горсти черных семечек одну тыквенную. Она наталкивает его на какую-то мысль, и он наклоняется ко мне: — Так и быть, дам тебе, желторотый, почитать книгу, но прине-сешь за нее в награду дядьке Юхриму четыре стакана тыквенных семечек. Меряй точно, потому что я перемеряю. У меня так, нашармака, не проскочишь.

Надежда моя расплзается, я хватаюсь за последний ее лоскуток:

— Дядько Юхрим, так я вам семечки, может, осенью принесу, где ж их теперь достанешь?

— До осени и книжка полежит, не бойся, мыши ее не сгрызут. Запомни: дядько Юхрим, натурально, любит жареные тыквенные семечки.— Он отворачивается

от меня, шеголевато оправляет галифе, картуз и начинает скалить зубы девочкам.

А ты стой около церкви и ломай голову, где достать Юхриму семечек... Ну и невезучий же я! Недаром мать говорит, что кто в мае родился — всю жизнь мается. И на какое-то время померк для меня праздник, пока я не взобрался с такими, как сам, бедокурами на колокольню. Тут уж мы насладились, и уши остались целы: на пасху даже звонарь щадит наши чубы и уши...

Вскоре после праздника я заметил, что мать, прежде чем надеть кофту, подпоясывается чем-то полотняным, похожим на длинный узкий мешок.

— Мама, что это вы носите? — удивился я. — Это такой женский пояс?

— Глупенький, — усмехнулась мать, отвернулась и быстро завязала свой таинственный пояс.

— Скажите, мама.

— Что ж тебе сказать? Это я выгреваю на себе тыквенное семя.

— Тыквенное? — Я недоверчиво взглянул на мать — не узнала ли она о моем разговоре с Юхримом и не подсмеивается ли теперь. У нас ведь дома и в селе нашем никогда не переводился перец на языке.

— Я ж сказала, что тыквенное.

— Разве оно заболело, что надо его отогреть? — осторожно спрашиваю, чтоб не попасться в капкан.

— Скажешь тоже. Ношу для того, чтобы в нем раньше проснулась жизнь и чтоб тыквы были большими. Разве ты не видел, что наши тыквы как поросята лежат?

— Видел.

— То-то оно и есть: выгревание — большое дело.

Признаюсь, меня не так заинтересовало выгревание, как сами семена. Вот бы мать потеряла пояс — имел бы Юхрим что щелкать, а я — читать. И закружились мои мысли вокруг пояса, как мотылек над огнем. Я знал, что это крутится та самая бестолочь, которая не выходит «вот оттуда», но уже ничего не мог с собой поделаться.

И может, долго мудрил бы я вокруг того пояса, если б мне вдруг не повезло: мать как раз начала собирать отовсюду — из кладовой, сундука, сыпанки¹, из-под потолка и даже из-за божницы — свои узелки. В них

¹ Деревянная тара для хранения зерна.

было все то, что потом взойдет, зацветет, покрасуется и будет виться по всему огороду: огурцы, фасоль белая, рябая и лиловая, бесчешуйный горох, турецкий боб, черное просо на развод, кукуруза, белая и красная капуста, свекла, мак, морковь, петрушка, лук, чеснок, подсолнух, крученые панычи, коготки, чернобривцы, гвоздика и еще всякая всячина. Мать радостно перебирала свое добро, хвалилась его силой и уже видела себя в огороде летом, когда ноги веселит роса, а глаза и руки разная зелень. Я тоже мысленно забирался в горох или наклонял к себе певучие маковки, но это, однако, не мешало мне пристальней всего глядеть на два узелка с тыквенными семечками. Они были довольно большими, и можно было немножко отсыпать. Чтоб не брать все самому, я попросил у матери, но она поскупилась — дала лишь одну щепотку.

— Больше нельзя, Михайлик, ведь это семена!

В ее устах и душе семена — святое слово. И хоть не раз она ругала свою мужицкую долю с ее вечными спутниками — нехватками и нищетой, все же ничего так не любила, как землю. Мать верила: земля все знает, что говорит или думает человек, она может гневаться или быть доброй! Наедине мать тихонько разговаривала с землей, доверяя ей свои радости и боли, и просила, чтоб земля родила для всех — и для работающих и для ленивых.

Когда на огороде появлялась первая завязь огурца или зацветал повернутый к солнцу подсолнух, мать брала меня, малого, за руку и вела смотреть на это чудо. И тогда в голубых глазах ее вмещалось столько радости, словно она была казначеем всей земли. Мать, первая в мире, научила меня любить росу, легкий утренний туманец, опьяняющий любисток, мяту, маковый цвет, осеннюю рябину и калину; она первая показала мне, как плачет от радости дерево, когда приходит весна, и как в расцветшем подсолнухе ночует опьяненный шмель. И от нее первой я услышал про калиновый мост¹, к которому навсегда прикипели мои мысли и сердце...

Забыв обо мне, мать начинает тихонько разговари-

¹ В народных украинских песнях символ счастья, молодости, красоты.



вать с семенами — одни хвалит, другие жалеет или даже бранит.

— Ой, горох, горох, как же это ты прошлым летом допустил к себе червя? — выговаривает она отборным горошинам.— Гляди, в этом году так не делай. А ты, боб, почернел, какая печаль тебя поедом ест?..

Со двора входит дед, он видит, что творится на столе, и усмежается:

— Началось бабье колдовство.

— Ой, разве можно так говорить? — ужасается мать. Ее всегда удивляет, что дед не так держится земли, как своего ремесла.

— Нельзя, нельзя,— сразу же соглашается дед.

В это время на улице грохочет подвода, и у наших ворот останавливаются отощавшие лошади. Дед присматривается к селянину, который слазит с воза, и добродушно посмеивается:

— И мы, если вдуматься, люди не простые: к нам тоже министры навевываются!

— Какие министры? — сразу востропнул я, надеясь услышать что-то интересное.

Дед тычет пальцем в окно:

— Видишь, дядька в постолах ворота открывает?

— Вижу.

— Это и есть министр.

— Ну вы скажете! — смеюсь я.

— Ты не смейся, самого настоящего министра видишь,— уверяет меня дед.

— Говорите! Разве я не читал и не видел в журнале «Нива», какими были министры?

— А про таких ты не мог прочитать в журналах, и портретов их там не печатали.— Дед выходит из хаты, за ним выбегаю я, потому что не каждый же день к нам приезжают министры, если дед не выдумал.

Незнакомый крестьянин с умными, выразительными глазами приветливо здоровается с дедом, спрашивается о его здоровье, а потом разговор идет о погоде и озимых, о незнакомых мне людях, разрухе, голоде на юге, политике, бандитах и за границе, которая несатым оком нацелилась на нас. Нет, с какой стороны ни посмотришь, не похож дядько Стратон на министра. Наконец он спрашивает деда, не наладит ли он деревянный плуг.

— Деревянный?

— А железный где же взять? — нахмурился дядько Стратон.— Пошло теперь все железо на смерть человеческую, а на жизнь ничего не осталось.

— Это правда,— вздыхает дед.— Где только не полегли наши дети с железом в груди...

— Три брата у меня было, и ни одного не дождался с войны. Старший во Франции погиб. Но горе горем, а пахать-сеять надо.

Мы все подходим к возу, на котором лежит самодельный плуг. И корпус, и колесный скат, и все-все сделано из дерева. Я никогда не видел такого чудного плуга.

— Жидкая рожь,— по-своему говорит дед: так называет он то, что ему не нравится.— Разве в вашем селе нет хорошего мастера?

— Такого, как вы, нет. Дай кому попало, так получишь одни щепки. Поэтому и приехал к вам.

— Что ж, придется помочь,— немного пренебрежительно машет дед рукой на плуг.— Лемех и резец найдутся у тебя?

— Лемеха нет, а резец нельзя ли из австрийского штыка сделать? Он из доброй стали сварен.

— Чтоб их нечистые на том свете в смоле варили,— клянет кого-то дед. А я знаю, что это относится к империалистам и милитаристам, только не знаю, какая между ними разница.

Когда дед пошел в мастерскую поискать что-нибудь на лемех, я тихонько сказал дядьке Стратону:

— А дедусь, когда вы приехали, хотел посмеяться надо мной,— и замолкаю.

— Как же он хотел посмеяться? — догадался спросить дядько Стратон.

— А не будете сердиться, если скажу?

— Да, наверно, не буду.

— Он сказал, что вы были аж министром.

— Ну что ж, я и был аж министром,— усмехнулся человек и взглянул на свои постолы.

Я внимательно смотрю на него, но будто не похоже, чтоб надо мной смеялись.

— И где ж вы были министром? В Санкт-Петербурге?

— Ну нет, немного ближе,— жмурится дядько Стратон.

— Тогда в Киеве?

— Нет, еще ближе,— играют глаза и все двенадцать золотистых точек, что весело разместились на зрачках.

— Значит, в Виннице? — совсем разочарованно смотрю на дядьку Стратона.

— Еще ближе: в своем селе!

— И что это за мода у взрослых — обманывать маленьких,— говорю я с горечью и, махнув рукой, поворачиваюсь, чтоб идти в хату. Но на мое плечо ложится крепкая рука дядьки Стратона.

— погоди, малый, никто и не думал тебя обманывать. Я истинную правду говорю. Это господские министры жили в столицах, а мы были мужичкиими.

— И вы с господами заодно были?

— Нет, мы были против них.

— А во что ж вы одевались?

— В то, что имели: одни — в кожухи, другие — в кереи, третьи — в чумарки, четвертые — в свиты. У кого были сапоги — носил, а кто и в лаптях ходил.

«Сколько света, столько и чудес!» — сказала б на это моя мать.

— И за кого вы были? — спрашиваю дальше.

— За свою крестьянско-бедняцкую республику.

— Большой она была?

— Три села и два хутора. Но немцы, австрийцы и гетманцы немало с нами повозились: мы никого к себе не пускали, пока нас не разбили. А когда разбили, леса стали нашей республикой.

— А теперь вы, дядько Стратон, уже не министр?

— Нет, теперь я комбедчик,— весело смеется дядько.

Видно, он ни чуточки не горюет, что лишился своего министерского звания,— не то что некоторые в наше время...

С дядькой Стратоном мы расстаемся уже друзьями, он приглашает меня с дедом в свое село. Там до сих пор стоит хата, где собирались все мужичкиие министры, а их премьер-министр теперь председательствует аж в волостном потребсоюзе.

Только дядько Стратон уехал, к нам пришел церковный староста. Дедусь говорит, что он толстый, как гусь осенью, а походка у него утиная. Вспомнив это, я сразу веселею, а староста, шевеля расшлепанными губами, подозрительно глядит на меня. Потом, смиренно вздыхая, он начинает сетовать на тонкое дело — политику.

Церковный староста считает себя незаурядным политиком, потому что заглядывает в ту газету, которую выписывает поп, и даже нахватал из нее десяток непонятных ни себе, ни людям слов и лепит их где надо и где не надо. От международностей он переходит на керосин и соль, которых и не купишь теперь.

— Или то море при большевиках, парадоксально, пересохло, или ту соль Антанта по тезисам к буржуазии вывезла? — долбит свое староста.

Но дедусь тоже деликатно долбанул его:

— А вы так сделайте: по тезисам — волов в воз и, парадоксально, к морю. Там все узнаете, еще и соли домой привезете.

Старосте не нравится, что дедусь перехватывает его ученость, и он говорит уже проще:

— Поедешь за шерстью, а вернешься стриженным, потому что такое время: нигде никакого порядка нет. Да и откуда ему быть, когда теперь не то что соли — даже народа не стало.

— Да опомнитесь вы! Зачем наводите тень на плетень среди бела дня? — начал совестить дед старосту. — Куда же, по-вашему, народ девался?

— Спросите об этом у большевиков. Раньше все были люди, а теперь стали кулаки, середняки и беднота.

— А при помазаннике божьем вы не видели бедноты? Или тогда даже козы в золоте ходили?

— Козы тогда не ходили в золоте, — отводит насмешку староста, — но что было моим — то мое, а теперь никто не разберет, где мое, где твое, а где наше. Вот уже Себастьян комбедчикам нарезал Ильцовщину, так не сделают ли ему, когда сменится власть, нарезки на одном месте?

— Все может быть, — соглашается дед. — Иногда даже за длинный язык бывает такая-сякая нарезка на ином месте.

— Да я не против, чтоб нарезали Ильцовщину, — это ж помещичья земля, — хитрит староста, — а вот если нашу кровную начнут резать...

— Далеко вперед пустили кур... С каким-нибудь делом или с политикой пришли ко мне?

Староста насупился, вертит головой и вздыхает:

— Да вот надо колеса сделать, только такая у меня бедность...

— Так почему ж вы в комбед не запишетесь? Там понемногу помогают беднякам,— советует дед. А лицо старосты вспыхивает сизым румянцем.

В это время на пороге появилась мать. Она окинула взглядом двор и пошла к соседям. Только это мне и нужно было: я сразу кинулся в хату разыскивать тыквенное семя. Оно в ожидании своего часа лежало на печи. Выглянув из окошка, я развернул оба узелка и в тревоге смотрел на отборные, обведенные ободками зерна, которые дышали в прозрачных и легких оболочках.

И почему теперь не стояла осенняя пора, когда тыквы бьют прямо об землю, а потом из их золотистых пазух выбирают скользкое семя? Кто бы заметил тогда эти четыре стакана, которые нужно отдать Юхриму? А как быть теперь? Узелки, правда, не маленькие,— может, обойдется? Я знаю, что за одни только мысли мне надо бы всыпать, но не могу побороть искушение.

Соскочив на пол, я достал с полки граненый стакан и, холодея, стал на печи отмерять семечки — два стакана в один карман, два — в другой. Они показались мне горячими и тяжелыми, словно камни. Оставалось накрест завязать узелки и положить точно так, как они лежали. Когда я снова спускаюсь на пол, с божницы на меня сурово смотрит и грозит пальцем седой бог-отец — единственный свидетель моего грехопадения.

Со страхом и невеселой радостью, которая все же пробивалась сквозь все тревоги, выскочил я на веселую улицу, где из каждой лужицы светил кусочек солнца. Оно сейчас во все стороны рассыпало тепло, разбрызгивало лучи, и в них так весело было голубым хаткам, словно кто-то их приглашал на танец. Под плетнями уже поднимались крапива и бурьян, а под плетнями набухали и блестели клейкие вишневые почки. Думая о своем, я выхожу на другую улицу и в это время сбоку слышу грубый мужской голос:

— Бог подаст, женщина добрая, бог! Он богаче нас.

Эти слова заглушает рычание собаки и тяжелый лязг цепи. Я оглядываюсь на двор, обнесенный глухим высоким частоколом, где затих человеческий голос, продолженный собачьим лаем. Сквозь лай доносится из сеней:

— Откуда ж они?

— Да будто из Херсонщины,— равнодушно ответил первый голос.— Шлендрают всякие, а ты подавай и подавай, если не ломоть, то картофелинку.

— Когда уже этот разор кончится?

Со двора испуганно выходит в лохмотьях, в стоптанной обуви молодая еще женщина с глубоко запавшими глазами. Взор ее ищет землю, а размашистые брови летят вверх. Сбоку к ней жметя босоногий, без картузика мальчик. На их исстрадавшиеся, изнуренные лица легли тени дальних дорог и голода. Женщина останавливается против меня, потресканными пальцами поправляет платок, и в ее черных глазах закипают темные слезы...

Я до сих пор помню того, кто отказал матери и ее ребенку в куске насущного хлеба. Это был богатый и богомольный человек, через руки которого проходили голодом согнанные катеринки, петрики¹, золотые имперIALы и серебряные рубли. Я помню тучную фигуру этого богача с ликом и бородой святого. У него всегда хорошо родили поля, луга и лесные загороды и только одна душа лежала под перелогом. Я не называю его имени лишь потому, что он уже умер...

Скрестив руки на груди, женщина боязливо озиралась, выбирая дом, что не ощерился бы на нее собачней, а дитя исподлобья недоверчиво смотрело на меня, на тонкой шейке покачивалась тяжеловатая для нее голова, покрытая сбитыми выющимися кудрями.

И тут я вспомнил о семечках. Вытащил горсть и протянул мальчику. Он обеими руками схватил семечки, а потом взглянул на мать. Та кивнула головой и вздохнула точнехонько так, как иногда в недобрую годину вздыхает моя мать. Потом я высыпал в подол рубашки мальчика семечки из одного кармана и взялся за другой. Но женщина остановила меня:

— Спасибо, дитя, не надо больше, ой, не надо,— наклонила ко мне скорбные очи, размашистые брови, и я на своей щеке почувствовал прикосновение ее губ и слез.— Пусть тебе, дитя, всегда, всегда будет хорошо среди людей.

¹ Пятьсот рублей с изображением Петра Первого.

Меня так поразили ее слезы и слова, что я тоже чуть не заплакал от жалости...

А может, это не женщина, а моя глубокогоглазая крестьянская доля склонилась тогда надо мной?..

Она еще раз окинула меня своим скорбным взглядом и пошла с сыном прямо на мою улицу. Меж вишняками раз и другой мелькнул ее платок — и уже нет ни женщины, ни ее глубоких очей, ни мальчика с завитками кудрей. А я, как во сне, долго смотрю вслед человеческому горю.

Со двора богача выходит длиннющая черная свинья, на шее ее покачивается деревянная колодка, на ней, и на морде, и на копытах свиньи застыла картофельная гуща.

«А ты подавай и подавай, если не ломоть, то картофелинку», — скрипит у меня в ушах голос богача, и я с омерзением ухожу от высоченного частокола и глухих ворот...

А вот дальше куда деваться: вернуться домой или идти к Юхриму Бабенко? Может, расщедрится и за два стакана даст почитать книгу? Догоню не догоню, а побежать можно. И я уже бегу с улочки на улочку, а навстречу мне ветерок бросает зеленые вербные веточки и солнечную паутину, которая обвила деревья.

Юхрима я застаю на другой половине хаты. Он уже не в галифе, а в потертых штанах сидит на скамье и указательным пальцем правой руки выбивает из балалайки не то стон, не то лай, еще и помогает ногами и голосом:

Отчего ты карапет?
Оттого что денег нет.
Отчего же денег нет?
Потому что карапет.

Около Юхрима на столе стоит большая, с горшочек, чернильница, из нее торчит толстая с обгрызленным концом ручка, а в стороне лежит несколько исписанных листов бумаги. Вероятно, Юхрим и сейчас «строит материал», а чтоб лучше писалось, балуется музкой.

Увидев меня, Юхрим отбросил чуб набок, отчего оголилась вздувшаяся жила на лбу, и засмеялся:

— Вот и тыквенное семя, соображаю, само по всем параграфам пришло в хату! Угадал, желторотый?

Чего это ему так понравилось звать меня желторотым?

Я молчу, а он переспрашивает:

— Угадал?

— Немного угадали,— пробормотал я.

— Почему немного? — удивляется он

— Потому что так вышло.

— Что ж у тебя вышло? Не четыре стакана, как выше сказано было? — округлились Юхримовы глаза.

— Только два.

— Тогда ты тоже немного не угадал: из этого пива не будет, натурально, дива! — насупился Юхрим, мотнул головой и снова начал мордовать балалайку

— А может, вы остальное до осени подождете? — слово в слово повторяю мамины слова, когда она склоняется перед лавочником из местечка.

— Ишь какой он умный! Осенью я сам понятие найду, где брать семечки,— безжалостно отрезает Юхрим, не глядя на меня.

Так что мне остается делать? Слушать вой и визг струн или «будьте здоровы» — и через порог? Я надеваю картузик, поворачиваюсь и звеню скобой.

— Подожди, желторотый! Дай посмотреть, что у тебя за семечки! — вдруг так орет Юхрим, будто я оглох от его музыки. Он подходит ко мне, запускает руку в карман, бросает семечко в рот. Оно только хрустнуло, и уже одна скорлупа поползла с губы на Юхримов подбородок.— Ничего, есть, натурально, можно. Так я, где уж мое не пропадало, дам тебе прочитать сказки. А «Приключения Тома Сойера» возьмешь, когда разбогатеешь По рукам?

— Так давайте свою! — сразу веселею я.

Юхрим подает вытянутую ладонь, я бью по ней и приговариваю:

— За «Приключения Тома Сойера» — два стакана теперь и четыре осенью.

— Не будь цыганским ребенком,— прекращает торг Юхрим.— Каждая книга имеет свою цену.

— А может, вы мне дадите «Приключения» хоть на один день?

— И не проси и не моли! — уперся Юхрим, словно кол в ограду.— Берешь, натурально, сказки?

— Беру, натурально,— еще раз хлопаю его по руке.

А он вытряхивает из моего кармана семечки, потом из кованого сундука достает книжку, еще и великодушно приговаривает:

— Бери да знай, по всем параграфам, мою доброту. За сколько ты прочитаешь сказки?

— Дня за четыре.

— Тогда в воскресенье приноси. Не забудешь, что в воскресенье?

— А разве вы не пойдете на гулянку?



— С утра до обедни, натурально, буду дома. Помни: не принесешь в срок, будет бедным твое официальное место,— его лицо злеет, словно я уже успел утаить книгу...

Боясь показаться на глаза матери (что, если узнала о семенах и теперь только ждет меня?), я пошел в долинку, к Штуковому пруду, где вода играла в жмурки с солнцем, тучами, тенями и ветерком. На ней иногда вскидывалась рыбина и раскручивала круги до самых мостков, что одним концом держались на старом колесе, а другим на берегу. Сейчас никто не стирал белья, по-

этому я снял мостки, поудобней пристроил их на песочке и принялся за чтение. Меня охватывал дух сказки, а кругом творилась сказка весны. И так хорошо мне было в этих объятиях, что я и не опомнился, как солнце понемногу перешло на другую половину неба.

Только тогда я со страхом подумал о доме и, чтоб избежать неприятностей, прикинул, что стоит поискать в долинке щавеля на борщ. За это еще, гляди, и похвалят, если... И снова тыквенное семя лезло в голову. Когда беспокойна совесть, ничем ее не обманешь...

Набив полный карман молоденьким щавелем, я уже немного веселей пошел домой. Вот и наша хата. Что ждет там мою бедную голову? Сейчас я не очень стараюсь с разгона перепрыгнуть плетень, а застреваю на нем, высматривая, что делается на дворе, в огороде и саду. Меж яблонями снует моя бабуся и ее тень. Лицо у бабуся такое, словно она молится. Это потому, что она очень любит сад, нежно ухаживает за ним и болеет за него душой. Каждая привитая веточка туго перевязана тряпочками, ленточками, нарванными из рукавов сорочки. А под навесом, пригнувшись к дереву, что-то мастерит дед, шапка упала с головы, и ветерок свободно играет его поредевшим чубом.

Но вот дед замечает меня, сначала удивляется, а потом фыркает:

— Вот и пропажа объявилась. А мы думали, что тебя где-то шкуродеры схватили.

— И зачем было такое несусветное думать? — веселею, потому что непохоже, чтоб гремело и сверкало надо мной.

— Куда ж ты на целый день запропастился? Я высматривал, высматривал, а потом беспокоиться стал.

— Ну?..

— Вот тебе и ну. Хоть бы кому сказал, куда идешь... А я для тебя, хлопче, что-то сделал.— Дедусь морщит свои большие растрепанные брови и уже по-доброму улыбается мне.

— И что же вы сделали? — заранее радуюсь я.

— А что ты просил?

— Ветряк.

— И что я сказал тебе?

— Что попросишь, то и сделаю, ведь у меня такими внуками поле не засеяно,— точнехонько повторяю

дедовы слова, потому что уж очень они понравились мне.

— Ишь как запомнил! — засмеялся дед, снял крышечку с нового улья и достал оттуда ветряк. Да какой! На крыше его расправил крылья и гордо поднял голову молодой лебедь. Казалось, он вот-вот оторвется и полетит в небо.

— Ой, как красиво! — вырвалось у меня.

— Красиво, говоришь? — переспрашивает и радостно улыбается дедусь, протягивая мне игрушку. — Для тебя старался. А теперь ступай в хату.

— А как там мама? — с опаской поглядываю на окна.

— Как всегда: сначала сердилась, а потом забеспокоилась и бегала к соседям спрашивать про тебя.

Я тихонько открываю наши двери, что со двора пахнут рябиной и макухой, а изнутри — хлебом и зелеными калачиками: они стоят у нас на всех окнах. За столом я снова вижу склонившуюся над узелками мать. Она всматривается в какое-то семя и что-то шепотом говорит ему, наверно просит, чтоб хорошо взошло и уродило. А ближе всех к матери лежат узелки с тыквенными семечками. У меня сразу похолодело внутри и наострились уши. Я хотел податься назад, но мать уже заметила меня.

— Наконец, — сказала она с укором. — Ох, дети, дети... — Поднялись над голубизной очей те черные ресницы, что бросают длинные тени на щеки.

— А я, мама, щавеля в долине собрал! На целый борщ хватит! — сразу хочу на что-нибудь другое переключить мысли матери и выворачиваю на скамью содержимое карманов.

Но какая неудача: вместе со щавелем из кармана выскочили два тыквенных семечка и упали на пол, словно серебряные монетки. Я испуганно поглядел на мать, но почему-то не увидел гнева на ее лице. Она негромко грустно спросила меня:

— Михайло, ты семена из этих узелков давал мальчику из голодного края?

— Из этих, — потупился я, подпирая спиной дверь.

Мать пошевелила губами, с которых не сходила печаль, и долго-долго молчала. Лучше б она кричала, ко-

рила, тогда я имел бы хоть какое-то право исчезнуть из хаты.

— Ну и хорошо, сынок, что давал,— слышу наконец ее голос. О чем-то думая, она дальше уже говорит не мне, а себе: — Кто ж на свете поможет бедному человеку, кто даст ему кусок хлеба или ложку борща? Никто, кроме такого же бедняка.

У меня от ее слов дрогнуло сердце.

— Мама, а откуда вы про мальчика знаете?

— Была у нас эта женщина со своим сынком. Я накормила их, бедных, дала хлебца на дорогу. А как эта женщина хвалила того мальчика, который высыпал ее Ивасику семечки. Я догадалась, что это ты, озорник, но ничего ей не сказала. Ой, Михайло, Михайло, и что из тебя только будет?..

— Может, что и будет, вы не очень горюйте,— говорю то, что слышал от взрослых, подхожу к матери, прижимаюсь к ней, а она вздыхает и гладит рукой мою неразумную голову...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— На лодочке, на весле уплыл от нас май, он прихватил с собой синие дожди, зеленый шум и соловьиное пение, и в село через плетни заглянуло лето.

Так, словно сказку, говорит моя мать. И еще она говорит, что больше всего чудес творится летом на рассвете — именно тогда, когда мне так хочется спать. Вот и сейчас, насупленный и заспанный, я стою посреди хаты, как слепой. А мать, вся в капельках росы, уже пришла с огорода и ласково-ласково кладет мне на плечо руку, а глазами показывает на распахнутое окно и таинственно спрашивает:

— Михайлик, ты ничего не слышишь?

Дед, взглянув на мать, прячет в бороду усмешку и молчит. А я смотрю на сизый от росы огород, на растрепанные деревья в саду, на хлопья тумана, запутавшиеся между их кронами и землей, на едва-едва очерченные соломенные крыши, прислушиваюсь ко всему, но слышу только утреннюю жалобу росы.

— Не слышишь, как лето пошло по нашему огоро-
ду? — удивляется мать.

— Нет,— говорю я грустно, но тут же представляю себе, как где-то неподалеку в цветастом, заброшенном на плечи платке широко бредет по туману лето, и сон сразу отлетает от меня.

— Вот пойдем посмотрим хоть на его следы,— так же таинственно говорит мать, и мы выходим из дома — мать улыбаясь, а я зевая. У самого порога с нами здороваается задымленная росой вишня.

— Вот видишь, сегодня леточко прикоснулось к ягодам, и они начали краснеть.

Я смотрю на вишни, у них и правда то тут, то там краснеют пухлые щечки. А мать уже показывает, что на завитке гороха появился еще сонный первый цвет, а на ранней груше зарделись грушки, те, что нацелились ресничками в землю. И все это чудо сотворило лето за одну-единственную ночь и пошло себе дальше, чтобы на рассвете, когда я сплю, снова заглянуть к нам. Как бы мне подстеречь его?

— Доброе утро, тетка Ганна! — около плетня появляется поповская наймичка Марьяна. Ее высокие удивленные брови, и красивые веночки ресниц, и по-утреннему синие глаза, и влажные полураскрытые губы таят в себе столько неукротимой радости, что и мне, заспанному, сразу становится веселей.

— Доброе утро, непоседа,— усмехается мать.— Куда в такую рань бежишь?

— К вам. Можно?

— Ну почему ж нельзя?

Марьяна, тряхнув тяжелыми косами, по-мальчишески перепрыгивает через плетень и тут же оглядывается, не зацепилась ли юбкой. Нет, все обошлось. Она подбегает к матери, целуется с ней и подает что-то завернутое в холстинку.

— Это что за напасть с самого утра? — шутя удивляется мать.

— Не напасть, а поповские, из панского теста марципаны,— смеется Марьяна, светя зубами.

— Ой, смотри, дивчина, перепадет тебе на бублики за эти марципаны. Будто ты не знаешь нашей попадьи: шипит и шипит, как яичница на сковороде.



— Не бойтесь, не обеднеет она. Верно, Михайлику? — нараспев говорит девушка и заговорщицки вскидывает высокие удивленные брови.

— Верно, — охотно соглашаюсь я, потому что Марьяна очень нравится мне, да и в узелке что-то вкусно пахнет.

— Какие у тебя цветы красивые, — приглядывается мать к рукавам Марьяниной сорочки.

Девушка обрадовалась похвале и доверчиво сказала:

— Так чего-то красивого хочется... и для себя и для людей, — но тут же спохватилась, застеснялась и, кивнув в мою сторону, пожалела: — Раненько вы его, малого, будите.

— Раненько, — как-то непросто посмотрела мать на девушку, — ведь вот хочется показать ему, как на расвете по селу ходит лето.

— Ну разве что так, — покачала головой Марьяна и чего-то вздохнула. — Ты, Михайлик, значит, до сих пор не видел лета?

— Не видел, Марьяна.

— Так еще увидишь: твое все впереди. Ты сегодня где — в лесу или на перелогах пасти будешь?

— Куда дед пошлет.

— Ступай в лес. Знаешь Якимову загороду?

— Почему ж не знаю.

— Так вот около загороды попасешь и в саду нарвешь черешен.

— Ну да — нарвешь, когда они еще не дозрели.

— Дозрели!

— Да не может быть: вчера сколько по лесу бродил — везде зеленые.

— Так то, Михайлик, видно, черные, а к белым, ранним черешням уже прикоснулось лето. Ты не видел, какие они в Якимовом саду? Крупные-крупные, а щечки с одной стороны подрумяненные. Так поедешь?

— Поехать не штука, — заколебался я. — Да не влетит ли мне за эти черешни...

— Не бойся, я вчера сказала дядьке Якиму, чтобы он разрешил тебе нарвать черешен, догадалась, что ты не откажешься от такого дела.

— Вот спасибо, Марьяна!

— Этим не отделаешься: принесешь мне несколько самых нарядных ягодок на сережки, — показала на ухо, засмеялась и тихо заговорила с мамой: — Если б вы знали, тетечка, какой мне сегодня сон приснился!

— Расскажи — узнаю.

Над синими глазами девушки растроганно задрожали ресницы.

— Снится мне, будто я в своем селе и в своей хате, встала чуть свет и вымешиваю квашню. Вдруг к моему окну подходит месяц, круглый-круглый, и приглядывается, что я делаю. В эту минуту в хату заходит моя тетка и спрашивает: «Кому это ты, Марьяна, тесто месишь?» А я тихонько ей: «Вот этому месяцу ясному...» Что вы скажете про такое диво?

Мать усмехнулась, и радость и печаль задрожали на ее губах и лучиках морщин.

— Скажу тебе, Марьяна, что скоро ты станешь месить тесто не попадье, а своему месяцу.

— Ой, такое придумаєте... — смутилась, вспыхнула девушка.



— Пусть только ясно светит тебе твой месяц,— вздохнула мать.

Девушка припала к ней, что-то зашептала на ухо, а потом спохватилась:

— Побегу... может, проснулась моя попадья и уже кричит из постели: «Кохвию!»

— И где только она его теперь берет?

— Иногда у маклаков, а то из сушеных желудей мелем. Паны и свиньи любят их,— засмеялась и как ветер выпорхнула со двора.

— Юла, да и только. И где это берется такая краса? И кого наворожила себе девушка? — улыбнулась мать, а потом загрустила: — Если б нашлась для нее хорошая пара! А то, не приведи господь, попадетя невесть что и растопчет молодой век, как цветок на дороге.

Не знаю почему, но мать моя всегда горевала над судьбой наймичек, бедных девушек, особенно тех, что выходят замуж на чужую сторону. Поэтому молодость чуть ли не каждый день разведала косами в нашей хате. Каких только песен не пропела она с моей матерью, каких только тайн не поведала ей. Даже в недоброй памяти тысяча девятьсот тридцать седьмой год, когда над моей, тогда кудрявой, головой нависла беда, мать, как могла, днем утешала меня своими и девичьими песнями, а ночью при звездах слезно молила долю, чтоб она была справедливой к ее дитяти...

— Мама, так я поеду сегодня в Якимов сад.

— А не заблудишься, сынок?

— Я ж сказал, что дорогу знаю.

— И откуда это? — удивляется мать.— Я сама, кажется, не попала бы туда.

— Женщины почему-то плохо запоминают лесные урочища,— говорю, как большой, с чувством собственного превосходства, будто сам ни разу не терял дорогу в лесах. Но я так их люблю, так сроднился с ними, что даже бывшие неприятности теперь вспоминаются с усмешкой.

А было у меня одно приключение, о котором я по сей день никому не говорил.

Перед троицей пришлось мне вести Обменную на ночь в лес. Зная норы нашей клячи, я очень боялся, как бы она не забрела куда-нибудь на пашню или не забралась в чужой сад. Тогда кто-нибудь загонит ее —

и ищи ветра в поле. Поэтому я додумался сделать так: привязал к своей ноге длинный уздечковый повод, на-двинул шапку на ухо и улегся спать. Обменная пасетса, понемногу тянет меня за собой, и я то просыпаюсь, то снова засыпаю. И нужно ж было, чтобы она на рассвете чего-то испугалась и рванулась в туман, волоча меня по земле. Пока я, стукнувшись раз-другой о пеньки, вскочил на ноги, из моих глаз разлетались искры,— вероятно, только туман и роса спасли лес от пожара. Дня два гудели жернова в моей голове, но я держался как настоящий хлопец...

После завтрака я переброесил торбу через плечо и вывел из конюшни нашу вредную-превредную серую кобылу, в синих глазах которой всегда таится настороженность и тот коварный огонек, который может сразу вспыхнуть злобой. Надо умудриться, чтобы за свои деньги заполучить такую напасть!

Мы долго-долго копили на бедняцкого коня, а купили бог знает что. Чудно как-то вышло и смешно. Когда в дедовом кошельке забренчало немного денегжат, он, прихватив и меня, поехал с Трофимом Тымченко на ярмарку в те Багриновцы, где люди почему-то не любили букву «г». Вместо «Грицько», «груша», «грабли», «гром» они говорили: «Рицько», «руша», «рабли», «ром».

Ярмарка началась со встреч и объятий с родными, свояками и знакомыми. А так как деда моего знали во всей округе, ему не так просто было дойти до конных торгов — его сразу потянули в те укромные местечки, где люди по-разному оставляли свои деньги: одни набивались веселья, а другие печали. Дед был как раз из тех, кто покупает веселье на душу и румянец на щеки. Вскоре он сидел в теплой компании за столом, прямо на ржавую селедку выбивал из кремня искры и при этом выводил свою любимую:

Як продала дівчина курку,
То купила козакові люльку,
Люльку за курку купила,
Бо козака вірно любила.

А затем уже вся компания, забыв про торг и не обращающая внимания на перепуганного корчмаря, пела про влюбленную дивчину, что приобрела для козака за

юбку — губку¹, за гребень — кремень, за сало — кресало, а за душу — табака «папушу».

— Люди добрые и славные, дай бог всем долгий век и доброе здоровье, и зачем вам петь? — горевал и хватался за переспевшие кудри подпольный корчмарь, опасаясь гостей из сельсовета или комбеда.

— А я и от рая откажусь, если там не будет песен. Для бедного человека что дороже всего? — пошатываясь, спросил корчмаря раскрасневшийся дед.

Тот хоть и дрожал, но лукаво усмехнулся:

— Что самое дорогое, спрашиваете? Groши и чарка той самой, что веселухой зовется.

— Ну что ты мелешь, несчастный грошелюб! — разгневался дедусь. — Самое дорогое для бедного человека — это земля, верная жинка и песня. Вот слышал ты песню про ту дивчину? Ну что ты знаешь? Налить и продать! — И дед обращается к землякам: — Понимаете вы, что это за дивчина была? Да по всему свету ищите — не найдете другой, чтобы так любила курца! Курцы, курцы, это ж вам вечный памятник!

Все согласились с этим и начали новую песню. А тут еще и еще приходили люди, которым дед мастерил то телегу, то сани, то колеса, то соломорезку. От седого, как дым, самогона у одних проступал на лицах пот, а у других слезы. Те и другие утирались рукавами и снова тянулись к шербатым глиняным чаркам и сушеным вьюнам, заменявшим тарань.

Когда наконец дедусь и дядько Трофим спохватились, что им нужно покупать коня, ярмарка начала понемногу разъезжаться.

— Да когда же день промелькнул? — удивился дед.

— Не иначе как кто-то его взял да укоротил, — убежденно сказал дядько Трофим. — Есть же такие субчики, которым не только люди, но и день мешают.

— Что есть, то есть, никуда их не денешь.

Дойдя до такой истины, дядько Трофим и дедусь, шатаясь, вышли из корчмы и на непослушных ногах подались к конным торгам. Первым встретился им остроглазый и черный как деготь цыган. Отпустив поводья, он провел около нас такого коня-красавца, что все играло

¹ Трут.

и сияло на нем. У деда сначала загорелись, а потом погрузнели глаза: конь был не по его деньгам.

Но дядьке Трофиму теперь все казалось возможным.

— Эй, чернобровый и черноокий, сколько возьмешь за своего разбойника? — пошатываясь, крикнул он цыгану.

Тот обернулся и подвел к нам коня, что перебирал копытами землю.

— Сколько возьму, хозяин? — повлажнели глаза у цыгана. — Ой, лучше не говорите и не спрашивайте, не бередите душу, потому что это не конь, а мое сердце. Не станет коня — не станет моего сердца.

— Так зачем же ты его на ярмарку вывел? — На лице деда искреннее сочувствие.

— Не я его вывел, само горе вывело, упирался бедный цыган руками и ногами, а беда его одолела и повела на своих поводах.

— Послушайте этого обиженного брехунца, он еще не такое нажужжит, — пьяненько засмеялся дядько Трофим. — Сколько ж ты ломишь за свое сердце?

— Кому нужно обворованное цыганское сердце, — горевал продавец и ресницами, как ветрячками, гасил хитринки в глазах. — А за коня прошу пятьдесят золотом или серебром.

— Ого! — только и смог выговорить дед — в его кошельке лежала одна золотая пятерка и шесть рублей серебром.

— А какую же вы, хозяин добрейший, назначите цену за этого красавца? — цыган картинно полуобернул коня, чтобы все увидели его лебединую шею, офицерскую кокарду на лбу и глаза, что бархатно синели сполохами предвечерья.

— Не будем мы цены назначать, ищи, человек, богатых купцов, — с грустью сказал дедусь.

Но цыгану, видно, хотелось поторговаться. Он фатовато повел глазами и плечом:

— А все-таки, сколько б вы дали?

— Сколько? Десять рублей! — отчаянно рубанул кулаком дядько Трофим. Рука у него сейчас была такая тяжелая, что потянула его всего набок. Это удивило дядьку, он взглянул на кулак и сказал только: «Ты смотри».

А цыган сразу обозлился, крутнулся и уже через плечо кинул неосмотрительному покупателю:

— Всегда на ярмарке найдешь двух дурней — один дорого просит, другой дешево дает.

— Вот злоязычное семя, еще и огрызается.— Дядько Трофим погрозил цыгановой спине кулаком и на этот раз осторожно опустил его вниз.

Мы долго толкались меж коней, но ничего путного на свои деньги купить не могли. Наконец, когда на село начал падать вечер, а хмель совсем разобрал деда и дядьку Трофима, они остановились перед серой с прогнутым хребтом клячей, ее держал за обрывок веревки тощий и тоже пьяненький, в облезлой шапке мужичок. На его длинные усы напирал красный, как перец, нос, а на щеках пробивался желтоватый, испещренный прожилками румянец.

— Сколько этот рысак стоит? — спросил дядько Трофим, заглядывая кляче в зубы. Та люто ощерилась и едва не отхватила дядьке палец.

— Видите, какой рысак?! Огоны! — повеселел длинноусый, пряча от покупателей маленькие, налитые хмелем глаза.

— Только никчемный этот огонь. Так какая ему цена будет? — уже осторожней приблизился к кляче дядько Трофим.

— Все ваши деньги,— не задумываясь, выпалил длинноусый.

— Как это все? — удивился дедусь.— Никогда еще не слышал такой несерьезной цены.

— Так слушайте!

— Да он пьяный, и цена его пьяная,— еле повернул язык дядько Трофим.

— Я пьяный? — возмутился человек.— Это вы пьяные, как затычки в сивушных бочках.

— Никого тут, человек добрый, пьяного нет,— примирительно сказал дедусь.— Мы трезвые, и ноги наши, слава богу, держатся земли.

— Конечно, земли,— согласился длинноусый и хмельно потрогал землю ногой.

— Так сколько ж за вашего коня?

— Все ваши деньги, все до копеечки.

— Может, у нас только и есть, что одни копейки,— засмеялся дедусь.

— Не дурите головы. Я вижу, с кем имею дело, и кошелек в вашем кармане тоже вижу,— он даже тихонько

мурлыкнул: «Ой, выдыть бог, ой, выдыть творець, ще вкрам мужык жыта корець».

Дед хотел было подтянуть колядку, но вспомнил, что надо вести торг, и сказал:

— Если так, а не иначе, то оставь, человек добрый, один рубль на развод и магарыч.

— На развод? — задумался мужичонка и полез рукой к облезлой шапке.— Это можно: каждый человек должен иметь что-то на развод. Давайте руку и кошелек.

Дед, смущенный таким необычным торгом, достал кошелек, раскрыл его, но чего-то на минутку засомневался и шепотом пробормотал дядьке Трофиму:

— Что-то оно того, очень чудно получается. Может, это не конь, а кобыла?

— Да что вы! Так перебрать! — чистосердечно возмутился дядько Трофим.— За кого ж тогда вы меня принимаете? Я коня за версту по духу чую! Я на конях все зубы съел! Да вы хвалите бога и всех апостолов, что такая дурнычка перепала.

Вот так за десять рублей приобрели мы коня и поехали домой. А наутро бабуся, которая первая наведальась в конюшню, вошла в хату и прямо трясется от смеха:

— Демьян, ты после вчерашнего хоть немного проспался?

— Да вроде проспался, и в голове не гудит,— бодро ответил дед.

— Правда, не гудит? — еще больше развеселилась бабуся.— Ну тогда скажи, что ты вчера купил на ярмарке?

— Еще спрашиваешь! Коня! — гордо сказал дед.

— Коня? — прислонясь к притолоке, чтобы не свалиться от смеха, переспросила бабуся.— А чего ж он, твой конь, за одну-однешеньку ночь кобылой стал?

— Ты что мелешь, старая? — ошарашенно вскинулся дед.— Это как же конь может стать кобылой?

Мы все четверо бросились в конюшню. Дедусь вывел оттуда вчерашнего коня, который сегодня, на трезвые глаза, почему-то и правда стал кобылой.

— Так что ты, Демьян, на это скажешь? — Бабуся рукой вытирала слезы от смеха.

— Обменная! — только и выговорил дедусь, и тут уже начали смеяться мы втроем: бабуся, мама и я.

— А он же говорил, что все зубы съел на конях! Придет — утоплю! — грозно поглядел дедусь в ту сторону, где жил дядько Трофим, и, пристыженный, пошел что-то мастерить под навес.

Дядько Трофим после этого долго обходил наш двор. Но однажды, пряча бегающие от смущения глаза, он пришел к нам с хлебом под мышкой и бутылкой в кармане.

— А ну, покажи свои зубы, как ты их съел на конях! — сразу подсек его дедусь.

— Тут дело, как бы сказать, не в зубах. Добрый день вам... Тут, видите, дело... — У дядьки Трофима язык теперь так цеплялся за зубы, а слова так задерживались, что трудно было что-нибудь толком понять. Он долго невнятно и хитроумно сваливал всю вину на горе-мычную бедняцкую долю, которой черт не гребет червонцев, а только пакостит.

— Да помолчи хоть немного, Трофим, — не выдержала бабуся. — Мямлишь — слушать противно, будто жвачку жуешь, — не долю и черта, а лишнюю чарку вины. Из-за нее обалдели оба.

— Ну она тоже немного виновата, разве я что? Я ничего такого и не говорю, но доля тоже свои, как бы сказать, коленца выкидывает. Чего бы ей не подойти к нам?

— Тут не то что доле, а и трезвому человеку не подойти было к таким удалцам! — засмеялась бабуся.

Усмехнулся и дядько Трофим, который до этого сидел будто в рассоле.

«Утопление» незадачливого купца началось с того, что мать бросилась к печи, а дед в глиняные с цветами рюмки разлил веселуху. И уже вскоре начал он напевать про ту дивчину, что продала курку, чтобы купить казачку люльку. А дядько Трофим долго еще оправдывался перед женщинами и все нападал на фортуны. Слова у него и теперь выбивались неспешно, но все же повеселей. Дядько Трофим не любил быстроты ни в словах, ни в работе. Даже когда в пруду как-то тонул наш церковный староста, дядько Трофим не сразу взялся его спасать. Стоя на берегу и размышляя, он спокойно гля-

дел на утопающего. Скупой староста, когда смерть заглянула ему в глаза, простонал:

— Спасай мою душу, Трофим, сто рублей дам.

— А какими — серебром-золотом или бумажками? — спросил дядько, зная нрав старосты.

— Разными, Трофим, — с трудом выдавил скупердяй.

Дядько Трофим его спас, но ни серебра-золота, ни бумажных денег не дождался, потому что староста и так был введен в расход: дядько вытащил его на берег без сапог. Вот если б он еще и сапоги выхватил, так, может, и получил бы обещанную награду. По этому поводу дядько Трофим сказал старосте:

— Так если вам опять придется тонуть, не обувайте сапог...

К нашей кобыле сразу ж прилипло прозвище «Обменная», а мне довелось ее пасти и изучать ее нрав...

Солнце уже понемногу начало подбирать росу, когда я доехал до Якимового сада. Он был обнесен свежеструганными жердями, за которыми тянулась к солнцу высокая трава. Тут краснели крестики дикой гвоздики, красовался луговой огнецвет, хвасталась белыми веночками ромашка и все кому-то подмигивала нежная, с длинными ресничками метлица. А над травой возвышались кое-как разбросанные деревца — черешни, яблони, груши и растрепанные кислички.

На другой половине загороды стояли в убогих стариковских шапках ветхие дуплянки и с десятков улейков, а к ним прижимался новенький курень. Я соскакиваю с лошади на зеленую дорожку и вдруг обмираю: по ту сторону загороды, куда от леса падают тени, напевая, появилась женская фигура. Наброшенный на плечи цветастый платок, занесенные над головой руки и величавая поступь напомнили мне утренние слова матери. Может, это и правда не женщина, а само лето идет себе лесами, садами, с песней склоняется над грибами и земляникой, поднимает руки к плодовым деревьям?

Женщина скрывается в лесу, а я начинаю приглядываться, не оставила ли она за собой какого-нибудь следа. Около самой дороги показалась семья молоденьких шампиньонов, чуть подалее кто-то разбрызгал по



траве землянику, а по ту сторону изгороди на белой черешне сочно розовеют ягоды. Я бы, может, еще долго размышлял о той, что прошла лесом, но сбоку зазвенел легонький смех. Я обернулся. У самого забора стояла с лукошком в руке худенькая черненькая девочка лет восьми. Глаза у нее карие, большие, щеки темнорумяные, а губы оттопырились розовым потрескавшимся узелком и чего-то радуются. Так почему и мне не улыбнуться девочке? Я это с удовольствием делаю, прижмурившись, потому что в глаза натрусилось солнце.

— А я знаю, как тебя зовут,— доверчиво говорит девочка, двумя пальцами перебирая стеклянное, с крапинками солнца, монисточко.

— Не может этого быть!

— Вот и может! — показывает чернявая редковатые зубы.

— Откуда ж ты знаешь?



— А зимой, помнишь?..— прыснула она.

— Что зимой?

— Забыл, как спускался в корыте?

Теперь мы смеемся вместе, хотя мне не очень приятно вспоминать, чем закончилась та история. Но ведь девочка всего не знает.

— Я тогда подумала, смелый ты!

— А чего ж,— не знаю, что сказать, хотя до смерти рад: нашелся же хоть один человек, который не оговорил меня за то корыто.

— Хочешь земляники? — протягивает полное лукошко, посредине скрепленное прутиком.

Кто ж не хочет полакомиться ягодами, но ведь не пристало хлопцу брать у девчонки, и я равнодушно говорю:

— Нет, не хочу.

— Бери, я еще насобираю. Тут их много.
Тогда я беру щепотку ягод и высыпаю в рот.

— Правда, вкусные?

— Вкусные.— Отпускаю наконец лошадь в лес.—

А как тебя звать?

— Любой.

— А что ты делаешь тут?

— Пасеку стерегу.

— Одна?

— Одна-одинешенька,— погрустнели глаза девочки, а брови сделались такими, словно их кто-то стал напизывать с середины.

— Где ж твои отец и мать?

— Мама дома возятся, а батько пошли на закладку хаты. Наверно, поздно придут за мной.

— А не заметила, кто это сейчас в лес пошел? — показываю на другой конец сада.

— В цветастом платке?

— В цветастом.

— Так это моя тетка Василина,— сразу прояснилось лицо Любы.— Она так хорошо поет, так славно выводит. А дядько поедом ест ее, чтобы не приманивала людей песнями.

— Вот как! — Уходит от меня сказка, и жаль становится тетку Василину, которую неволит вредящий дядько. Лучше была б она тем самым летом, что идет по земле и творит свои чудеса.

— Ты не хочешь посмотреть на наш курень? — трогает меня за рукав девочка.

— А что там есть?

— Ничего такого, но мне там любо, а вечером здесь тихо-тихо. Ты ягоды приехал рвать?

— Откуда знаешь? — удивляюсь я.

— Знаю,— таинственно говорит девочка.— Кто-то в лесу шепнул мне на ухо.

— Кто ж тебе шепнул на ухо?

Мои слова смыли таинственность с Любиного лица, и она, не выдержав игры, весело прыснула:

— Марьяна сказала. Она вчера у нас рвала для па черешни и отцу моему замолвила за тебя словечко. Правда, она славная?

— Очень славная,— соглашаюсь я.

— А видел, как хорошо она вышивает?

— Видел.

— Она как-то у нас немного вышивала, и не девичью сорочку. Наверно, у нее уже есть жених.

— И это может быть,— говорю я немного печально, потому что жаль будет, если кто-то заберет Марьяну и я больше ее не увижу.

— А у нас дикий козленочек есть,— девочке все хочется рассказать мне.— Батько зимой нашел его с перебитой ножкой.

— А у нас был автомобиль.

— Автомобиль? — не может поверить девочка и смотрит на меня широко раскрытыми глазенками.— Может, не автомобиль, а чертопхайка?

— Нет, всамделишный, на четырех колесах автомобиль,— радуюсь, что могу удивить девочку. Да и не только ее. Когда надо поубавить спеси кому-нибудь из хвастунов, я всегда побеждаю тем автомобилем, что пробыл у нас целых два дня.

— Где ж вы взяли всамделишный автомобиль? — верит и не верит Люба.

— Пусть тебе отец расскажет, он должен знать,— говорю я так, словно мне неохота повторять прошлогоднюю историю.

— Нет, нет, я хочу от тебя услышать,— заискрились глаза девочки.— Это ж так интересно.

— Тогда слушай. В прошлом году, ты, может, слышала, по нашей дороге отступало в Польшу войско Пилсудского. Удирая, вояки бросили подбитый автомобиль. Когда люди сказали об этом нашему дедусю, он побежал туда, как молодой, а потом на волах привез машину. Ну и было нам всем работы! Дед и есть перестал — он никогда не имел дела с такой машинерией, а разобраться хотел до конца.

— И не побоялся? — даже вскрикнула девочка.

— Чего ж бояться?

— А может, там черт сидел, который машину тянет?

— Машину тянет не черт, а мотор.

— Кто знает,— засомневалась Люба.— У нас люди по-разному говорят. Ну, а дальше что?

— Помучился, поканителился дед с этой машиной, и она ожила — зачихала, загудела, задрожала и поехала. Она может ехать вперед и назад. Тогда дед посадил меня рядом с собой на кожаную подушку с пружинами,

и начали мы наведываться к близкой и далекой родне. А как интересно было! Люди везде выбегают посмотреть на чудо, женщины с перепугу крестятся, детвора бегом за нами лупит, чтоб на дармовщинку хоть сзади уцепиться, собаки лают, кидаются под колеса, куры и гуси разлетаются, аж пух и перья летят, а мы с дедом уж так гордимся, так подпрыгиваем на той буржуйской коже, будто всю жизнь из автомобилей не вылезали.

— И хорошо было ехать?

— Еще как! И мягко!

— Может, и я когда-нибудь покатаюсь на такой машине,— мечтательно улыбается Люба.

— Это может быть, если не побоишься,— снисходительно соглашаюсь я.

— А куда ж вы дели свой автомобиль?

— У нас его хотели какие-то маклаки за мыло выцыганить. Они и просили и стращали деда — знаете, мол, что вам будет, когда Пилсудский вернется? Бабуся уже согласилась было взять за автомобиль десяток длинных брусков солдатского мыла. А дедусь сказал, что мы еще вполне можем белой глиной стирать белье. Тогда на торг подоспел церковный староста. Ему не машина нужна была, а хотелось отодрать кожу с подушек. Это вконец разозлило деда, и он сказал, что грех драть шкуру с человека, а кожу с машины. А староста сказал, что он больше разбирается в грехах, чем тот, кто порезал на дрова фигуры апостолов. После этого дед пошел за советом к дядьке Себастьяну и потом сдал автомобиль в уезд. За это мы имеем благодарность от самой революции.

— А у нашего деда революция хорошего коня забрала, а взамен плохого дала.

— Значит, так надо было,— говорю я словами дядьки Себастьяна. Девочка соглашается со мной и тут же вспоминает, что мне уже время рвать ягоды.

— Хочешь, я тебя к самой лучшей черешне поведу? Ее тетка Василина песней зовет.

— Чего ж она ее так зовет?

— Потому что эти черешни очень красивые и на них больше всего держится роса, как на теткинских песнях слезы.

Мы грустнеем, молча перелезаем через забор и по бархатным травам идем к той черешне, что больше всех собирает росы. Она, стройная и кудрявая, лишь на несколько шагов отодвинулась от леса и раскачивает себе солнце, на ветках ее красуются не отдельные ягодки, а целые веночки. Вот несколько веночков я и отнесу Марьяне на сережки.

— Лезь,— говорит мне Люба.

— Может, и тебя посадить?

— Не нужно. Я землянику стану собирать. Насушим на зиму, и простуда не страшна будет.

Девочка согнулась, выискивая в траве ягоды, а я полез на черешню. Рвать ягоды на таком дереве — одно удовольствие: потянешь к себе веночек, и в руке смеются румяными щечками отборные черешни... Я и теперь, вспоминая деревья своего детства, думаю, что мало, ой как мало наши садоводы и ученые изучают неистощимые богатства природы и народной селекции...

Через некоторое время откуда-то полилась песня про зеленый гай и про ту любовь, что разбили враги. А когда отгоревала песня, кто-то под корни деревьев и на травы швырнул столько веселья, что у меня даже на дереве ноги затанцевали. Я полез на вершину, чтобы разглядеть, что ж это творится внизу. В лесу, на солнечном кружке, пела и извивалась в танце маленькая гибкая фигурка. Девочка, видно, не хотела сойти с этого солнечного пятна, которое подсвечивало резвые босые ножки. Люба кружилась и кружилась на нем, пока не упала на землю.

— Значит, так мы собираем землянику на зиму? — крикнул я.

Люба как ошпаренная вскочила на ноги, еще разок крутнулась, со смехом показала мне язык и крикнула:

— Не будь шкваркой!

— А ты не дерзи!

— Ого, нашел дерзкую! — засмеялась Люба.— Иди-ка лучше сюда.

— Зачем?

— Поможешь раздуть огонь.

— А для чего он тебе?

— Нужно!

Я слез с черешни и пошел к ней. Неподалеку от куреня на лесной выжженной латке чернели угли и недогоревшие сучья. Люба, припав к земле, так дула на них, что из глаз текли слезы, но все старания ее были напрасны.

— Подожди, не разгребай весь пепел, поищем живой уголек.— Я шепкой разворошил погасший костер и на радость Любе нашел уголек, на краешке которого еще держалась крапинка огня. Мы приложили сухую бересту, дули по очереди, и вот береста затрещала, задымилась и вспыхнула. Теперь уж нетрудно было разжечь костер.

— Сейчас мы и кулеша наварим.— Люба кинулась в курень, вынесла оттуда таган, казанок и торбочку с пшеном, в котором заманчиво желтел кусок старого сала.

— И ты умеешь варить кулеш? — удивляюсь я.

— А почему ж не умею, вот увидишь, какой будет вкусный, когда салом затолку...

И правда, кулеш удался на славу. Усевшись на землю, мы ели его прямо из казанка, я хвалил кухарку, а она стыдливо и радостно отмахивалась смуглой рукой, в которой был зажат кусок черствого ржаного хлеба.

— И что тут такого: кулеш как кулеш. Вот борщ сварить — это дело потруднее.

— А ты умеешь?

— Из шавеля умею, а с буряками и фасолью еще нет... А ты когда-нибудь белую трясогузку видел?

— Голубую видел, а белую нет.

— А барсука?

— Тоже нет.

— А я видела сколько раз, нора его тут близенько, и он вечерами высовывается из нее. Вылезет, постоит, послушает, что делается вокруг, а потом начинает охотиться. Осенью он у нас в саду лакомится кисличками.

Мы побежали смотреть барсучью нору, а потом Люба повела меня к той кисличке, где сейчас жила белая трясогузка. Неразумная птаха свила гнездышко совсем низко и теперь сидела в нем на яичках. Гнездышко было так мало, что весь хвостик трясогузки свисал над

ним. Услышав шаги, пташка повернула к нам голову и замерла, в ее крохотном черном глазке промелькнул страх. Мы подошли к самому дереву, но птичка не покинула гнезда.

— Пойдем, Михайлик,— тихонько сказала мне Люба,— пусть не тревожится она. Я еще покажу тебе родничок, что пробился прямо из дуплистого пня...

Я и не заметил, как вечер осел на леса и начал укладывать на ночь цветы, с них то тут, то там свисали сонные мотыльки. Мне не хотелось так скоро прощаться с Любой, которая успела насобирать и земляники и щавеля и сплела венки себе и подружке.

— Приезжай, Михайлик, и книжку хорошую привози,— попросила, прощаясь, девочка, и голос ее стал грустным.— Лошадь будет пастись, а мы читать, и снова черешен нарвешь — не жаль ведь хорошим людям.

— Тебе не страшно одной оставаться?

— Немного страшновато,— она посмотрела в сторону леса.— Но тетка Василина вот-вот придет или отец. А сейчас в курень заберусь, чтоб никто, даже барсук, не видал меня.— Она повела длинными черными бровями, а над ними задрожали две печальные морщинки.

Люба проводила меня за ворота и, когда я влез на лошадь, помахала мне рукой.

Проехав немного, я оглянулся. Люба уже стояла около куреня и смотрела в мою сторону. А в это время из леса славно-славно отозвалась песня, и девочка радостно метнулась ей навстречу. Из-за деревьев появилась стройная молодая женщина, вот она протянула руки, и в них с разгона влетела Люба. А потом вслед мне неслись уже два голоса, они горевали над судьбой соловья, что не нашел своего счастья ни в лесу на дубу, ни в долине на калине...

Дома все хвалили меня за славные черешни, бабуся назвала «нашим кормильцем», а дедусь заметил, что чуб у меня пахнет земляникой, а завтра, возможно, будет пахнуть речкой.

— Почему речкой?

— Завтра я пойду рыбу ловить, так, может, и ты захочешь?

— Ну да, захочу! — радостно вскрикнул я.

— Вот и хорошо. Только разбужу я тебя рано-рано, когда еще черти на кулачки бьются.

— Дед, а как это черти на кулачки бьются?

— Так же само, считай, как и люди, только нечисть от тумачков летит дальше, да так, что аж земля дрожит под ней,— даже не улыбнувшись, пояśniaет дед.

— Ой, молчи, старый греховодник. Чему учишь ребенка перед святой неделей? — с укором говорит бабуся, которая никогда не произносила слова «черт», а только «тот, кто в болоте сидит».

— А что тут такого? Ему все надо знать.

— Дед, а чем будем ловить рыбу?

— Саком. Я знаю одно место.

— А щуки там будут?

— И щуки, и караси, и лини будут,— ласково говорит дед, и славно так становится на душе у меня от его слов, а к глазам придвигается та медвежья долина с речечкой, куда я еще не заходил со своим продырявленным решетом. Дед говорит, что там когда-то рыбы водилось тьма-тьмущая. Косари, бывало, захотят ухи на обед и, не долго думая, пускают в ход рубашки: завяжут рукава — и в речку. Наловят рыбки — и к таганку. А в верши набивалось того карася чуть не до горловины, и весь он золотом так и отливал. А теперь даже со снастью мокни целый день, чтоб наловить какой-то мелкоты!

Мы выходим с дедом во двор, осматриваем небольшой сак и заранее приготовленную торбу, щупаем длинный шест, которым будет орудовать дедусь. Скорей бы пробежала эта ночь!

— День завтра будет как золото,— смотрит на звезды дед и идет за мной к воротам.

— Откуда вы знаете?

— Звезды говорят.— И опять какая-то тайна слышится мне в дедовых словах.

Сразу ж за нашей хатой волнуются, как Дунай, молодая конопля и подсолнухи, за ними темным пятном выткнулась церквушка, под самым небом кричит коростель, а в небе поблескивает Воз. Он совсем был бы похож на обыкновенный земной воз, если б кто-нибудь нацепил на него колеса, хоть бы те, что мастерит дедусь. Притихнув у ворот и приглядываясь к семи звездочкам, я неожиданно делюсь этим с дедом, и он в изумлении

прижимает руку к седым закорючкам усов и начинает смеяться.

— Вот додумался! Некому там цеплять колеса,— ведь в небе нет стельмахов¹.

Теперь уже я удивляюсь, потому что знаю, что стельмахи есть в каждом селе: и в Кусековцах, и в Литинце, и в Зиновьевцах, и в Вербце, и в Березовце, и в Майданах, и в Руднях, и в Гутах, и в тех самых Тесах, где встречают и провожают вас целые выводки мелкоты: тут не семья, если меньше шестерых детей, а так как в Тесах водится и по шестнадцать, то село это и по сей день зовут Китаем.

— А чего ж, дед, в небе нет стельмахов?

— Потому что там живут одни святые.

— Ну и что? — внимательно смотрю, не подсмеиваются ли надо мной.— Разве святые не ездят друг к другу в гости?

— Нет, не ездят, они пешком ходят.

— Пешком? Это правда?

— Правда.

Мне становится жаль святых, которые не знают такой радости, как езда в гости. Это ж колеса поскрипывают, кони пофыркивают, а дорога петляет, петляет то полями, то лугами, то дубравами, глядишь, где-то за прудом и деревенька вынырнет. А в ней дальняя родня или свояки, у них и хлеб вкуснее, и вишни не такие кислые, и люди внимательнее к тебе, и глаза у них так хорошо светят, и все тебя родней величают и даже подыскивают невесту...

— Дед, а святые много ходят?

— Много.

— И ноги у них не болят?

— У святых ничего не болит. Им хорошо живется.

— А чего им хорошо живется?

— Потому что у них есть во что обуться, есть хлеб и к хлебу.

— А кто им поле пашет?

— Никто им не пашет, у них и так есть хлеб, без поля.

— А-а-а, у них есть лавка с булками! — сразу сообщаю я, вспомнив лавку Митрофаненко, а дед обеими

¹ Стельмах — колесник, каретник.

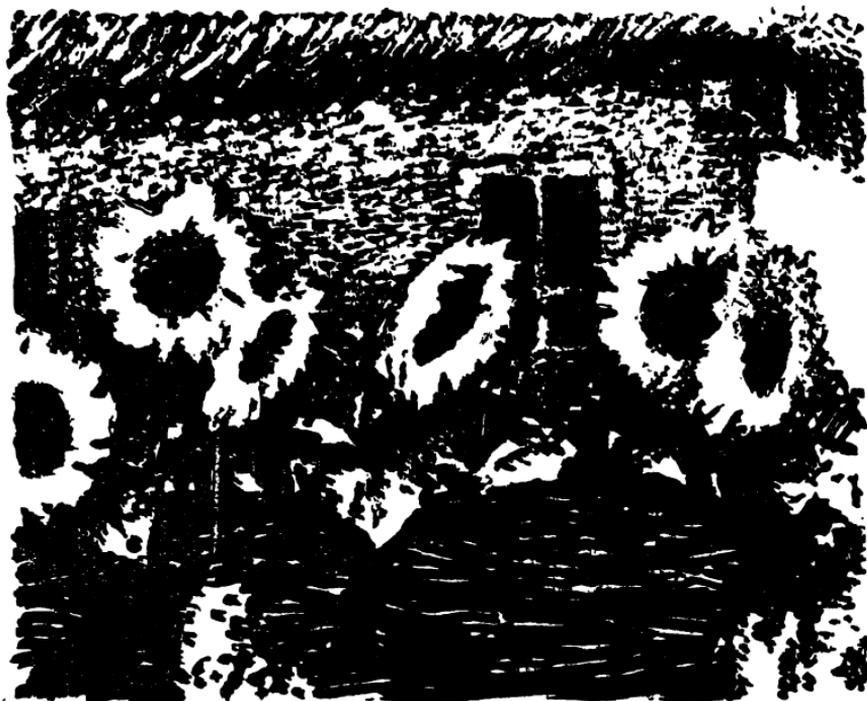


руками хватается за калитку, приседает и так начинает хохотать, что на нашей вишне просыпается петух и раньше обычного зовет утро.

На пороге появляется бабуся. Она еще не знает, что к чему, но тоже начинает смеяться, ведь чего-то же смеется дед.

Я никогда не видел более дружных людей, чем мои дедусь и бабуся. В селе, в вечных нехватках, мне всего довелось наглядеться и послушаться. Но ни одной крошечки житейской грязи не выползло со двора моих стариков, недоброе слово из их уст не коснулось ни одной живой души.

Над необыкновенной деликатностью деда посмеивалась вся наша улица. Где ж это видано так щадить в крестьянстве жену, как он? Если дед поздно возвращался с работы или заработков, то жалел будить жену, садился на завалинке у ее окна и тут, под холодной росой, засыпал до утра. За это на него всегда сердилась



бабуся. Дед обещал, что больше такого не будет, и снова делал по-своему.

Родились мои дед и баба еще крепостными, поженились уже вольными и стали жить на пешаке¹. А когда крестьянский земельный банк начал продавать землю князя Кочубея по сто двадцать пять рублей наличными, а в рассрочку на сорок девять лет — по триста рублей за десятину, мой дед скрепил купчую на три шнура² и запродавал свою силу и лета. А что было делать, когда в хате если не через год, то через два скрипела люлька, и народившаяся жизнь должна была идти в свет не нищим, а сеятелем.

И напахались, и насеялись, и накопились дедовы светловолосые сыны и внуки, пока не взялась косить их

¹ Пеший надел после 1861 года крестьянину, у которого не было тягла.

² 1,1 десятины.

война. Косила она безжалостно, и осталось теперь из всего нашего большого рода только двое мужчин.

Бабуся, посмеявшись над тем, что я сморозил, гонит нас в хату, а сама еще идет взглянуть на свою любовь — садик. Каждое деревце посажено ее руками, и для каждого у нее свое слово. Это очень интересно, когда бабуся, как с родными, разговаривает с деревьями, поэтому я и увязываюсь за ней. Но бабуся не любит, чтобы кто-нибудь слышал ее разговор с садом, сейчас она только подошла к нескольким деревьям, потрогала их, пошептала что-то и вскоре повела меня в дом.

Раздевшись, я падаю на топчанчик и сначала слышу слова бабуся, обращенные к царице милосердной, заступнице скорбных, а потом сквозь молитву улавливаю скрип наших ворот.

«А может, это батько приехал?!» — подхватываюсь с топчанчика и прилипаю к окну. Нет, это на воротах под звездами примостились парень с дивчиной и ни чуточки не горюют, что ворота скрипят и скрипят. Я припадаю к подушке, и вскоре под слова молитвы и воркование влюбленных наша хата начинает легонько пошатываться. Это, верно, дремота подкралась к ней и творит свои дела... Вот она слегка раздвинула тьму, и над мной зашелестела росой песня-черешня, из темного ку-реня вышла смеющаяся Люба, а рядом вылез из своей норы барсук, насторожился и прислушивается к лесу.

А потом в мой сон залетают лебеди, их так много, сколько может быть лишь в сказке. Они подхватывают меня на крылья и летят своим лебединым путем на широкую долину, где уже с саком ждет меня дедусь. Приложив к глазам руку, он всматривается в небо и смеется:

— Ага, опоздал. А я уж сам немного шук и вьюнов наловил.

И верно, на прибрежном песке извиваются посе-ревшие вьюны и, поблескивая, выгибаются носатые шуки...

Дедусь разбудил меня, когда в небе едва-едва стала выбеливаться звездная мгла. Я подошел к саку, повлажневшему от росы, насквозь пропитанному запахами рыбы и водорослей, и вдруг услышал какой-то шорох в нашем садике. Оглянулся. Меж деревьями, что кута-

лись в туман, испуганно метнулась женская фигура и скрылась за плетнем в огородах.

Неужели это лето остановилось было у нашего сада и пошло дальше, к другим людям? — замер я на месте. Но почему оно так похоже на Марьяну?.. Даже платок расправило, как она. И каких только чудес не творит лето!.. Об этом больше всего знает моя мама.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

За тучами тучи кутали солнце; оно изредка роняло на края неба мгlistые проблески, и тогда земля держалась на них, словно люлька.

Кругом тихо звенел золотой полусон предосенней степи. Издалека, словно по голубой реке, медленно проплывал пригнувшийся к плугу пахарь, а за ним, у самого неба, ветряки наматывали и наматывали на свои крылья бабье лето и само время...

Я и теперь всегда с волнением вхожу в предосеннюю золотую истому полей, до сих пор не могу спокойно глядеть на последние, сизые от непогоды ветряки, эти добрые души украинской степи, что веками вписывали в страницы туч и неба горькую летопись крестьянской доли.

Иногда мне кажется, что и сам я похож на ветряк, который основой своей врос в черную, потресканную землю, а крыльями рвется в небо...

На пыльной дороге показалась наконец исполненная достоинства фигура Петра. Маленький ворчун равнодушно бьет толстенной палкой по цепким стеблям цикория, и они закипают всполошенным синецветьем. На смуглом лице пастушка отражаются лишь полусонная доброта и сытость. Разомлевшим взглядом пересчитывает он коров, пасущихся на стерне, лениво переводит глаза на то место, где еще недавно стояли копны, и довольно, хоть и с припрятанной насмешечкой, хмыкает:

— Ну как, читальщик?

— Плохо, обидчик!

— Ты еще сердисься? — пастушок примирительно

хлопает ресницами, на которых осела дорожная пыль.

— Да нет, пересердился.

— Так почему же плохо? — Он пожимает одним плечом и расплывается в широкой улыбке, обнажившей мелкие подсиненные зубы. — А-а-а, панская забота: читать нечего. Угадал?

— Угадал, — опрометчиво вздыхаю, на минуту забыв, что это вызовет только новые насмешки.

— Читай не читай, грамотей, все равно попом не станешь, — неторопливо отвечает пастушок надерганные из чужих мудрствований слова, а потом удовлетворенно похлопывает ладонью по деревянной чурке, на которой держатся штаны: — Вот это пообедал так пообедал, самому не думалось, не гадалось.

Я насмешливо хмыкаю:

— Чего только не было на том столе: и хлеб, и вода, и хрен, и даже сама редька! А что за лук!

Петро пренебрежительно, как только он умеет, рукой, глазами и губами отбрасывает все это и обращается будто не ко мне, а к кому-то постороннему:

— Не удивляйтесь; ну что оно, бедное, понимает в панской еде?

— Что, что? Ты аж до панской еды дорвался?

— А как же! — покровительственно полуоборачивается ко мне Петро и лениво цедит: — Слышишь, и борщ с пампушками, и утятину, и сладкие пундики ел!

— Во сне?

— Да нет, у самого попа!

— Ври, да не завирайся! — Теперь уже я пренебрежительно машу рукой, потому что слишком хорошо знаю скупость нашей белолицей попадьи, в глазах которой зеленовато застоялся мед, а на языке не держалась желчь; приземистая и широкая, словно колокол, матушка с утра до ночи толклась на своих поповских угодьях, только что не звонила, да все ворчала, что теперь не жизнь, а один разор и все, словно сговорившись, объедают и разносят ее достатки. Правда, когда на поповском дворе стоят красные казаки, матушка до их отъезда становится тихой, как вздох, и даже наймичку Марьяну зовет не «богопротивной плевелой», а «сэрцэ моё»...

— И ты никак не веришь, что я у попа обедал? — Пастушок с деланным равнодушием ложится лицом вверх на жнивье, подкладывает под голову сплетенные руки и ловит глазами белые облака, что стряхивают и стряхивают на поле нитки бабьего лета.

— А кто ж поверит брехуну? Может, еще скажешь, что сама попадья тебя на почетное место посадила?

— Ну и дурень же ты! — довольно посмеивается Петро.— Матушки как раз дома не было: аж в Литин поехала на престольный. А Марьяна чего только, понимаешь, не поставила на стол и...— Пастушок приподнимается с земли, голос его делается тихим, он смущается,— и чернобривцем назвала меня и говорила, что я... того... стал красивше.

— О!

— Вот тебе и о! — Петро собирает в оборку потресканные губы, наверно задумался, стоило ли повторять, что про него сказала дивчина; уже и мы научились от старших пренебрежительно относиться к тому, что говорят женщины.— Думаешь, хвастаю перед тобой? Очень нужно!

Нет, я не думаю, что он хвастает. Слова Марьяны запали мне в душу. Теперь я совсем другими глазами оглядываю пастушка, его старую засаленную кепку, убогую одежонку и едва ли не впервые вижу, что он правда славный: и брови у него черные, сосенкой, и глаза красивые.

Как иногда важно бывает, чтоб кто-то отметил в человеке красивое и другим, менее наблюдательным, подсказал. Я гляжу через поле вдаль, где шапками яворов и тополей очерчивается село, и тепло вспоминаю веселую поповскую наймичку Марьяну, босоногую, с двумя подвижными косами непоседу, что все делает бегом, пританцовывая, смеясь или напевая.

Даже когда матушка ругает ее, наймичка наливается смехом, открывая белые подковки зубов и три ямки — две на щеках, а третья на подбородке.

— Нет на тебя, сорвиголова в юбке, ни грома, ни молнии, ни лихорадки, ни погибели, ни лихого часу, ни синей тоски.

— Вот и хорошо, что нет! Пусть век не будет — не пожалею! — смотрит куда-то поверх матушки Марьяна, пританцовывает на месте и посмеивается.

Попадья озирается вокруг, вздыхает:

— Прости, господи, прегрешения наши, вольные и невольные... Запомни, девка, мое слово: потянут тебя скоро куцехвостые в самое пекло, и только одними новыми веревками, потому что старые не выдержат.

— Ну пока они себе натреплют конопля да насучат веревок, я еще наживуся.

— Вот пусть убьет меня золотой крест,— хлопает себя толстой рукой в пышную грудь попадья,— если не кинут тебя хвостатые на самое днище геенны огненной.

— И там, говорят, матушка, есть люди!

— Свят, свят, свят! И что ты, плевела богопротивная, мелешь и уже наперед ищешь компании в пекле? Замолкни и исчезни с очей моих, выродок.

— Куда ж, матушка, исчезнуть: к скотине, на огород или на леваду? — смиренно спрашивает Марьяна, а с кончиков ее ресниц так и брызжут молодость и жизнелюбие.

— Революционерка! — наконец изрекала матушка, сама пугалась этого слова, сразу же руками сдерживала сердце, а глаза обращала к небу: — Прости, господи, прегрешения наши, вольные и невольные, прости и оставь...

А наймица, развеивая юбкой и косами, уже проворно мчалась в конюшню или на огород. И повсюду роняла, на тропинки и дорожки, беззаботный смех или песню. В селе, кто знал Марьяну, все любили ее, желали ей добра и славного жениха, который имел бы земельку и хорошо растил хлеб.

«Вот кто мне поможет найти у попа какую-нибудь книгу, и чего это я раньше не додумался?» — веселею я, уже не прислушиваясь, как роскошествовал пастушок за поповским столом.

— Ну беги пообедай, а то высохнешь, как сучок,— наконец говорит Петро и достает из кармана свою единственную забаву — кресало из напильника и кремень с Карпатских гор, где воевал с австрияками его дядя.

Жнивьем и картофельным полем я скатываюсь к Микитовскому прудку, где были здоровенные карпы, пока их не поглушили бомбами. Тут серебряно лепечет синяя-

синяя долинная вода, я наклоняюсь к ней, вслушиваюсь в ее пение и в шепот трав. Я очень люблю, когда поет вода — весной она с ревом бушует по всей долинке и, пенясь от злости, рвет плотины, летом еле-еле наигрывает в сопилку, а зимой только иногда спросонья пискнет, как вьюн, и снова спит.

А вы знаете, где и как она просыпается? Вот пойдите ранней весной к яружанским трем прудам, где Куценький Михайло жил, и вы увидите солнечно рассыпанный по снегу ореховый цвет, а под снегом услышите вдруг какой-то всхлип, и голос жаворонка, и снова всхлип, и снова голос жаворонка. Так и знайте: проснулась вода и дышит в прошлогоднюю расколотую камышинку, а та, глупая, еще не поняла, что это весна, и все чего-то всхлипывает.

Обойдя долинку, где колосится позднее просо, я выбираюсь на дорогу и сразу догоняю ребристую телегу горшковоза Терентия. Ссутулившись, старый подпрыгивает на передке, а за его спиной примостились черные, как скворцы, малыши с глиняными лошадами в руках. Глаза у лошадей большие, гривы пышные заплелись в венки, а хвосты до самых копыт, глянешь на такую скотинку — порадуешься и затоскуешь, что нет у тебя такой. А дед Терентий всякий раз над новой скотинкой мудрит, чтобы веселить и людей и своих внучат, хотя сам он и разлучился с радостью: гетманцы повесили его сына. Одинок теперь старому гончару на свете, и он не расстается с малыми внучатами, даже на дальние ярмарки их с собой берет. Ну а детям дорога — всегда радостная диковина.

На возу слегка тарахтят краснобокие обливные миски, на дне которых почивают подсолнухи, цветы и солнце; перехватывают ветерок зеленоватые и сизые, словно покрытые инеем, горшочки; растопырились макотры и крынки; загордились горшки-двойнята, что в них целый обед понесут добрым людям; красуются толстые, дебелие горшки с вытянутым горлом — в них могли бы поместиться и я, и гончарова взъерошенная мелкота, цветут бочкастые кувшинчики-«кумовцы», заткнутые комичными бараньими головками, — кумовство, мол, неплохое дело, но до бараньей головы не напивайся.

Окинув взглядом все это добро, я окликаю старого:

— Дед Терентий, дайте коника!

— А кнута не хочешь? — оборачивается ко мне прожженный огнем и солнцем гончар.

— А кнута не хочу, — смеюсь я, усмехается в поларшинные усищи гончар, и дружно подхохотывают гончарята, смех у них тоненький и сливается в одну ниточку. — Так дадите, дед?

— Подрасти немного.

— Эге, опять подрасти! Это же самое я слышал от вас в прошлом году.

— Разве? — хитрит старый. — Ну так придется, видно, дать, если сможешь крутить круг.

— Помогу, еще и как!

— Тогда приходи завтра.

— А коника — сегодня?

— Тоже завтра.

— А где вы будете стоять?

— На Королевщине. Может, подвезти? — показывает на телегу узловатой рукой, в которую вьелась глина.

— Да нет, боюсь миски потолок.

— Хозяйственное дитя.

— А то как же!

Гончар снова усмехается, а я, довольный разговором, под вековыми липами бегу и бегу к селу. Мягкая теплая пыль кустами подымается из-под ног, а над головой едва-едва колышутся уже прихваченные свежими рассветами и холодной росой листья. С дороги я сворачиваю не к своей хате, а на перекресток, за которым в закоулке дремлет в сирени поповский дом.

Навстречу мне со двора двумя клубками бросаются гончие, а самый старый обленившийся пес как вкопанный стоит на каменных ступенях и так выгавкивает, словно по команде бьет в барабан.

С огорода не бежит — вихрем вылетает Марьяна. Юбка из красной фланели кружится у ее легких босых ног, в косах дрожит растрепанная гвоздичка. Вот девушка махнула рукой, и во дворе сначала стихло рычание, а затем утихомирился и барабан.

— О, Михайлик к нам пришел! — с такой радостью говорит Марьяна, словно я ее ближайшая родня. И глаза ее, голубые, с сизым туманцем, ласково светят мне, а руки поправляют мою рубашку и картузик.

Потом она оглядывается на дом и тихо спрашивает:

— Ты, Михайлик, может, есть хочешь?

— Нет, не хочу.— Я чувствую, что краснею, и отвожу взгляд от Марьяны.

— Не стесняйся, глупенький,— приближаются ко мне черные веночки ресниц, а под ними и глубокая степная даль, и такая доброта, которой вовек не забыть.

— Я не стесняюсь, Марьяна... Ты не думай. Я уже обедал и так начесночился...

— Начесночился? — смеется девушка.— Ой, горе мое, нашел чем похвалиться.

Теперь и я веселею:

— Ну да, есть чем: у нас головки чеснока прямо как мои кулаки.

— Если б еще сало к нему.

— И сало у нас есть борщ заправить.

— Ну чем не богачи,— грустно усмехается Марьяна.— Тебя мать прислала?

— Нет... Я сам пришел.

— К кому?

— К тебе, Марьяна.

— Правда? — снова искренней радостью вспыхивает лицо девушки.— Вот молодец! А я еще недавно подумала и загоревала: кто меня вспомнит и перед праздником проведает? Родня ж моя далеко-далеко,— вздохнула дивчина, и уголки ее рта стали горестными. И чего это все говорят, что она никогда не печалится...

— Марьяна, я хочу с тобой о чем-то поговорить,— не знаю, как перейти к своему делу.

— Так говори!

— Ты не можешь найти мне какую-нибудь книжку?

— Кому-нибудь на курево или себе читать?

— Себе.

— Ой, не могу тебе, Михайлик, помочь: поп все книжки, как невольников, запирает,— огорчается девушка, и никнет в ее косах патлатенькая гвоздичка.

— Как невольников? — переспрашиваю я.

— Если б не закрывал, я бы тайком из самого огня вынесла тебе... Вот горюшко! И чем только помочь моему Михайлику?.. Правда ж, ты мой? — уже веселеют глаза, губы и все три ямочки Марьяны.

Я смущаюсь, не знаю, что сказать, и переминаюсь с ноги на ногу.

— Да ты не горюй, потерпи немного, а я уж как-нибудь схитрю — на радость попу или попадье.

Марьяна, смеясь, крепко сжимает мою руку, и мы уже во весь дух мчимся к просторной поповской кухне. Тут чисто, как на пасху. Под печкой, кувыркаясь, играют котята, на скамье попискивает в кадке тесто, а из панского буфета так пахнет сладкими блюдами, что у меня сразу голова идет кругом, а в животе просыпается голод. Марьяна метнулась к буфету, выхватила из какой-то голубой, в лилиях посуды пундики, посыпанные настоящим сахаром, и стала запихивать в мою торбу.

— Потом съешь себе. Вкусные, сама пекла, сама и хвалю! И подожди меня одну минутку.— Она заговорила приложила палец к губам, прижалась ухом к тем дверям, что вели в покои, и тут же скрылась за ними. Вскоре вернулась таинственная и радостная, крунулась на месте — этого только и нужно было котяткам, они сразу же повисли на ее юбке.— Только вас и не хватало мне! — Марьяна осторожно сбросила прилипал.— Михайлик, украла!

— Что? — холодею от счастливой догадки.

— Вот! — девушка отворачивается, достает из-за пазухи книгу в матерчатой обложке, торжественно протягивает мне, а глазами стреляет на дверь.— Пусть поищут теперь ее!

— Спасибо, Марьянка, большое спасибо! — беру книгу, не зная, как и где ее спрятать.

— Не за что. Учись, Михайлик, учись, миленький, может, хоть ты не будешь таким темным. А выучишься, не забудь нас,— вздыхает наймишка, машет рукой перед глазами, словно отгоняя от них печаль, и переводит взгляд на книгу.— И за сколько ты можешь ее прочитать?

— Да за два дня и прочту.

— За два дня? — удивляется Марьяна.— А я, верно, за всю жизнь не прочла бы. И что только там пишут мудрые головы? Почитай мне, Михайлик, хоть капельку.

Она, прислушиваясь, запирает обе двери, а я раскрываю книгу, и у меня темнеет в глазах.

— Что такое, Михайлик? — испугалась Марьяна.— Ой, это, может, неприличное? — Девушка, что-то вспомнив, вспыхивает и выхватывает книгу из моих рук.

— Ты чего, Марьяна? — пожимаю удивленно плечами.

— А чего ж ты таким стал, когда заглянул в нее? — Марьяна осторожно перелистала несколько страниц.

— Потому что она не по-нашему написана,— беру книгу и смотрю на чужое, непонятное письмо.

— Не по-нашему? Вот это удружила тебе! — покачала головой Марьяна.— Кто ж его с нашей мужицкой грамотой разберет, как эти книги пишутся? — Она задумалась, а потом сказала решительно: — Ну, ты не горюй! Догонишь не догонишь, а побежать можно. Пойдем сейчас к попovichу и попросим у него нашенскую книгу.

И вот мы вдвоем стоим в просторных покоях перед большим (на нем и спать можно) столом попovichа, которого недавно революция прогнала из какого-то киевского института. Большеголовый, вислоносый барчук, внимательно выслушав Марьяну, поднялся из-за стола и долго оценивает меня темным, с насмешливой важностью взглядом, останавливает его на моих ногах, и я начинаю стесняться их, грязных, потресканных и оцарапанных стерней, начинаю стыдиться своей немудреной полотняной одежды и торбы, которая теперь прожигает мою спину попovichскими пундиками с настоящим сахаром.

— Так, так. Хочешь очень умным стать? — наконец спрашивает попovich.

Я чувствую коварство в его вопросе и тихо отвечаю:

— Хочу что-нибудь почитать.

— Теперь все чего-то хотят, даже вот такая мелюзга,— куснул меня словом и пропек взглядом попovich, а потом повысил голос на Марьяну: — Можешь, девка, идти к своей работе! Или ты ее всю переделала?

— А кто ж ее всю переделает?.. Прощай, Михайлик,— подбадривает меня взглядом и высокими удивленными бровями.— Паныч обязательно даст тебе хорошую книжку.

Марьяна, покачивая станом, выплывает из комнаты и уже из-за полураскрытых дверей передразнивает поповича. Я чуть не прыснул от смеха, но в это время степенно входит в старом подряснике седогривый батюшка. Из-под подрясника видны штаны, и это меня очень удивляет — почему-то до сих пор я и подумать не мог, что попы ходят в штанах.

— Вот, отец, не сеючи, не пашучи, имеем нового читателя, прошу любить и жаловать,— говорит отцу сын, и они вдвоем начинают смеяться.

Я пеку раков и молча стою на одном месте, раскаиваясь, что притащился сюда. Стыд, упрямство и гордость борются во мне, а к глазам предательски подступают слезы. Я никогда не был плаксою, терпеливо сносил и кнут, и хворостину, и затрещины, а вот теперь заболело и допекло...

Тут отец с сыном заговорили не нашим языком, еще оглядели меня, словно маленького грешника, потом попович раскрыл широченный шкаф, и я увидел целое богатство в потемневшем золоте, серебре, коже и в простых обложках. Даже не верилось, что у одного человека может быть столько книжек; пей из них ум и радость и не измывайся над тем, кто ни одной книжки не имеет. Попович, что-то мурлыча, долго перебирал их, наконец достал какую-то из тонких, сдул с нее пыль и показал попу. Тот пожал плечами, удивился, но ничего не сказал.

— Вот тебе очень ученая книжка — набирайся ума. Прочитаешь — принесешь! Только не завози ее, перед чтением руки мой! — ткнул мне книгу.

Как-то выдавив несколько слов, я выбираюсь из поповских комнат. На каменных ступеньках ноги мои сразу оживают, а от сердца отлегает горечь. Я подпрыгиваю и мячом вылетаю со двора. Вдогонку мне несется смех поповича, запоздалое тьяканье гончих и старого пса...

— Свят, свят! Может, за тобой, сынок, сто волков гнались или что дымилось под ногами? — обеспокоенно встречает меня на пороге мать.

Я гордо поднимаю вверх книжку и говорю только:

— Видали?

— Дорвался-таки! Наверно, из-за твоих походов нигде собаки покоя не имели? — Мать успокаивается, ми-

ролюбиво скрещивает на груди руки и, прислушиваясь к своим мыслям, покачивает головой.

Что думалось ей тогда, моей босоногой сельской Ярославне, перед человечностью, скромностью и мудростью которой я и теперь склоняю свою уже побелевшую голову. Не знаю, как сложилась бы моя доля, если б около нее не стояла в мольбе моя заботливая мать. Я и теперь ощущаю около своего сердца покой и тепло ее ладоней. Может, потому и было так много тепла, что держалось оно не на поверхности, а в глубоких трещинах натруженных, зазелененных материнских рук...

После смерти деда и бабуся страшная нужда загнала нас в старую дедову клуню. Тут мы как-то оборудовали голодранскую хижину на два подслеповатых оконца. Чтоб они казались лучше, мать посадила перед ними малину, а на зиму между рамами клала кисти рябины. Чего в этой хижине было вдоволь, так это дыма и сверчков. Бесова скотина, казалось, набралась со всего села на нашу беду и несколько лет без умолку пилила на своих трещотках, а по ночам ордой шарила по всем углам. Мы прятали хлеб на чердаке, и соседи даже посылали нас к колдуну, который умел выводить всякую нечисть.

Не скоро отец накопил на старую коровенку, которая стала жить в нашей клуне, в загородке. Просыпаясь по ночам, я часто слышал за стеной глубокие и печальные вздохи, сначала пугался, а потом снова спокойно засыпал. Да недолго побыла у нас корова. Когда я окончил сельскую четырехлетку, отец решил отдать меня в науку к глухому сапожнику, который переводил не только войлок да кожу, но и красу и здоровье своей большеглазой и покорной, как богоматерь, супруги,— он был глубоко убежден, что, если не бить жену, у нее утроба сгниет.

Мать стеной встала между мной и сапожным ремеслом. Она молила, плакала, ночами не спала и отцу не давала спать, требуя, чтобы он отдал меня учиться дальше — в школу сельской молодежи за двадцать верст от нашего села.

— Если бы ты была хоть немного умнее, я б тебя недоумком назвал, а теперь уж и не знаю как! — гневался отец.— С каких достатков буду я учить его, если

такая бедность душит нас. Можно было б руки отдать под залог — отдал бы до последнего пальца, а сам пошел бы по ярмаркам за куском хлеба.

— Ты же сам видишь, Панас, как он дрожит над наукой. Сделай что-нибудь, Панас.

У отца от бессилия и злости белели глаза, а жилы на висках наливались кровью.

— Хоть живьем меня не пили. Что могу я сделать, если, где ни стану, на беду наступаю?

— Тогда продай, Панас, корову.

— Корову? Ты что?..— В хате сразу стало тихо. Кто ж не знает, что такое корова в бедной крестьянской семье? Даже мать примолкла...

Потом отец смирился, что ему и дальше придется бедствовать, продал корову, а я пошел учиться...

Но это было потом. А пока в руках моих попава книга. Чтобы не отхватить «басурмана», я старательно мою руки, вытираю холстяным полотенцем и только тогда с наслаждением поднимаю обложку.

— «Космография»,— читаю вслух непонятный заголовок, переворачиваю страницу, другую и вижу среди наших букв много чужих и каких-то непонятных значков. Радости как не бывало. Но я вспоминаю слова, что это очень умная книга, и, хромая, спотыкаясь, начинаю со всех сторон подбираться к ее трудному смыслу. Идя в поле, я уже с горечью положил в торбу «Космографию». Мать заметила, что со мной что-то не так, и обеспокоилась:

— Может, тебе у попа Библию дали, так сейчас же отнеси ее назад...— Моя мама где-то слышала, что самая умная и самая трудная на свете книжка — это Библия: дочитаешь ее и, гляди, клепки из головы повывают.

— Не Библию, а космографию.

— Космографию? — переспросила и успокоилась мать.— Ну тогда читай.

Легко ей было говорить «читай», а вот как мне одолеть эту «Космографию»? До вечера лоб мой морщился над книгой, как дядькины постолы, но понять ничего не удавалось. Однако я все-таки постиг, сколько и какие есть планеты, каково расстояние от земли до месяца и солнца, но непонятные значки, буквы и такие слова, как «синусы», «тангенсы», «астрономия», «метеоро-

логия» и множество иных, доводили меня до горького стчаяния.

Надо мной кружили далекие планеты, о существовании которых я не подозревал до сегодняшнего дня, а перед глазами расплывались туманные слова, которые скрывали от меня большие тайны.

Ошеломленный такой мудрой наукой, я поднимаюсь с охладевшей стерни. На поле так же гнется над плугом пахарь, так же ветряки наматывают на крылья бабье лето и время, но уже небо за ними без конца и края, и сколько ни иди к нему, оно будет отдаляться от тебя... А где ж та дорога, что соединяет небо и землю и бежит себе между звезд? О ней я знал, как только стал на ноги.

— Ну что? Так ничего и не раскумекаешь? — шпигнул меня Петро.— Это, брат, оттого, что смекалка не идет без палки. Ги!

Я упрямо тряхнул головой:

— Еще пойму. Это сначала трудно.

Но кто поможет мне разобраться в книжке? Я перебираю в памяти грамотеев своей улицы, но все они самое большее могут написать письмо и ждать ответа, как соловей лета. Конечно, мог бы помочь поп, но я ни за что не пойду больше туда. К дяку тоже не сунешься, потому что недавно лазил с Петром в его сад. Недаром говорится: бедному Савке нет доли ни на печи, ни на лавке... А может, пробиться к председателю комбеда дядьке Себастьяну, который всю войну прошел, не раз был ранен, потом партизанил в Летичевских лесах? Он же всякие бумаги получает аж с самой Винницы! Кроме того, дядько Себастьян хорошо знал моего отца и меня всегда узнает на улице, даже «добрый день» говорит.

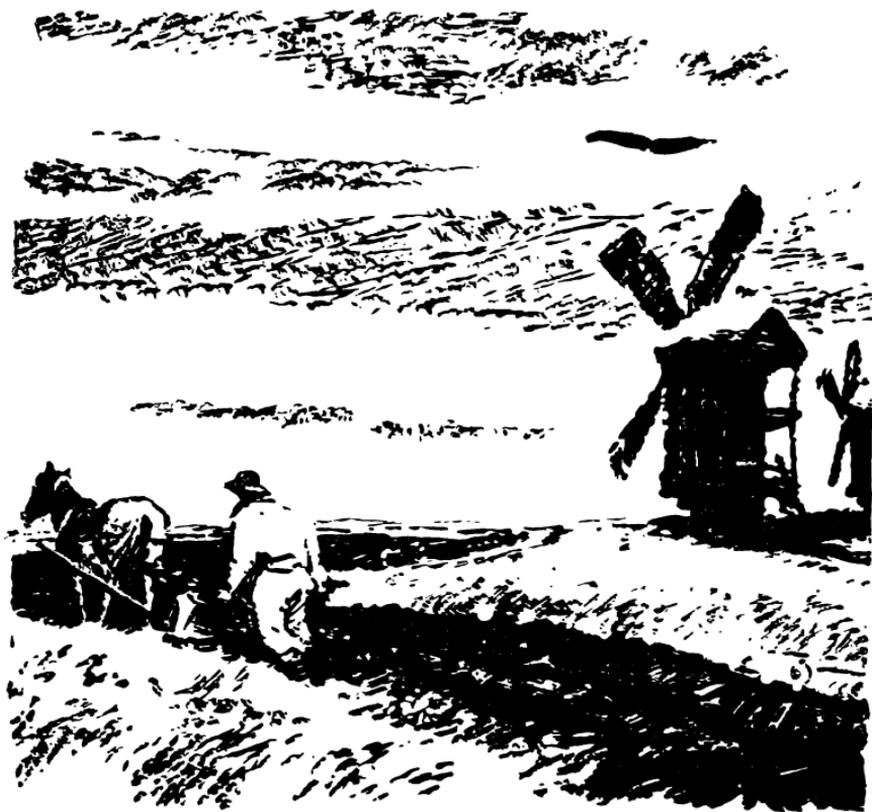
Вечером, приехав домой, я поставил лошадь в конюшню, перескочил через ворота и на всякий случай с улицы обратился к матери:

— Слышите, мне надо сходить в комбед.

— Куда, куда? — удивляется мать.

— В комбед! — говорю с достоинством, но немного отступаю.

— Что, может, собираешься выступить перед сходом? — вдруг веселеет мать.



Я понимаю это как разрешение и сразу же испаряюсь с глаз матери. Она говорит, что я умею это делать, как никто другой. Но то же самое говорит о Петре его мама.

И вот огородами, на которых, к радости воробьев, еще стояла конопля, я подался в комбед, где вечерами всегда было шумно илюдно. Тут беднота встречалась со своими надеждами, тут слушала она ленинскую правду и не раз брала за нее в руки и русскую трехлинейку и английские, французские, немецкие и австрийские ружья.

Очевидно, было еще рано. В помещении комбеда возился один сторож (он пылил стертым веником и дымил люлькой, в которую можно насыпать целую горсть табака), а с краю толстеного дворянского сто-



ла не то спал, не то дремал бывший помощник писаря, бывший сельский староста и бывший председатель вол-исполкома Гаврило Шевко. Все у него уже стало бывшим, даже военкомовские штаны и линиялая, натянутая пружинной фуражка. И только с полфунта рассыпанных повсюду веснушек держали фасон — ни чуточки ничем не огорчались. Не было их только на ступеньке носа, на которой кто-то набросил сетку прожилок, менявших цвет в зависимости от того, что и сколько он выпивал.

Услыхав возню около порога, Шевко еле-еле приоткрыл узковатые раскосые глаза и тут же прикрыл их сморщенными веками, которых хватило бы на куда большего человека. Я до сей поры не могу забыть странного лица дядьки Шевка, который, как говорили

люди, до недавнего времени был уж очень падок на власть.

Если Шевко бывал трезвым и не сонным, в его глазах угадывались и настороженность, и осторожность, и лукавство и вдруг проклевывался и снова куда-то прятался ум. Но стоило ему опустить заслонки век, как из бесчисленных морщинок победно брызгала ничем не прикрытая хитрость. Но ей тесно было на веках, и она стряхивалась на ноздри, губы, подбородок и властно издевалась над всем и всеми. Необычной была и слава этого человека.

Когда в киевском цирке объявился новый правитель Украины гетман Скоропадский и колокола в церквах зазвонили в честь ясновельможного, а на площадях и сборных по мужицким шкурам засвистели немецкие и австрийские шомпола, в нашем селе никто не захотел стать старостой, отказались и богатые и бедняки, хотя скоропадчики целый день продержали людей на сходе. Мало чести было выколачивать для чужаков зерно, скот и деньги... Наконец рассвирепевшие гетманцы угрозили, что вызовут из уезда государственную стражу, а та уж знает, для какой части мужицкого тела предназначены шомпола. И тогда Шевко, прикрыв глаза веками, спросил хлеборобов:

— Слыхали, чем оно пахнет?

— Жареным,— понуро ответили ему.

— Раз оно так, выбирайте меня старостой. Послужу, как умею.

Сход сразу выкрикнул:

— Хотим Шевка!

И вскоре невидная, в свитке и постолах, фигура дядьки Шевка появилась на крыльце управы, где ему вручили печатку, подушечку для нее, чернильницу, бутылочку чернил, бумагу и другие знаки власти. Разложив все это на столе, староста сбросил растопыренную впереди фуражку, махнул рукой — и сход притих от такого чуда, что к нему впервые обратился необычный хозяин села. А у него и голос объявился — не из тех, что на людях затекает в голенища, и слова захитрились, что спроста и не раскусишь их:

— Люди добрые, кхи, спасибо вам, как говорится, за голоса и любовь, без которой тоже не каждый обойдется. Правда, любовь бывает всякая: любил и волк

кобылу, оставил хвост да гриву. Так если, как говорится, новая власть не очень будет накладывать, и я не буду обдирать, потому что обдирать и дуролом умеет. Я думаю, светлый гетман разумеет, что мужик теперь ничего не имеет. Так пусть батюшка сейчас правит молебен за мужика и нового старосту, а после молебна лавочки выставят мне сапоги, а нам всем двенадцать ведер самогона, ровно столько, сколько у бога было апостолов, и мы посмотрим, есть ли в этих ведрах дно. Правильно я, люди добрые, понимаю власть и политику?

— Правильно! — закричал, заволновался сход, которому больше всего понравилось, что Шевко «имеет понятие до мужика», и бурно поднял старосту на «ура».

Но все это кончилось не так весело, как началось. Когда гетманцы выехали из села, Шевко снова проявил понимание времени и власти. Это ему не забудется и после смерти. Он сразу сказал людям, что не станет выбивать из них ни зерна, ни скота, ни податей. Такое удивило даже самых отчаянных:

— За это, человеке, теперь могут записать твою душу на вечные поминки.

Но Шевко не слушал предостережений:

— Над шкурой дрожать — человеком не бывать.

— А как ты думаешь выкрутиться?

— Подожду, там видно будет. Широковато, мне кажется, раздулась эта власть, не лопнет ли, как пузырь. Ну, а пока что пусть с каждой хаты принесут мне по десять фунтов зерна для угощения разных-всяких и на мой пропой.

Такая программа пришлась всем по душе. Вскоре хата Шевка была засыпана зерном, и он загулял, не жалея ни чужого зелья, ни своего живота.

Окончилась власть Шевка тем, что с государственной стражей наехали в немецких железных касках-«черепахах» гайдамаки, всыпали ему двадцать пять шомполов в шкуру, забрали последнюю корову и свинью, чтоб не было на дворе ни писку, ни визгу.

Шевко терпеливо вынес кару. Он знал, что над ним висела более страшная туча. После расправы он сполз с окровавленной скамейки, сам натянул штаны и в тот же вечер, лежа на печи, разъяснял дядькам:

— Не удивляйтесь, люди добрые, когда власть не имеет своей головы, так показывает чужой зад. На это никогда большого ума не требовалось...

Недолго продержалось на чужих штыках «созвездие мелких карликов», которое, дорвавшись до власти, забыло, что на дворе стоит двадцатый век. Нашинкованное злобой, заклеименное братоубийством и предательством, это «созвездие» подалось на свалку чужих богов не светить, а гавкать и рычать на землю отцов, по которой уже в светлом раздумье шагал новый рассвет.

Когда на Подолье начала устанавливаться Советская власть, Шевко, как пострадавший, объявился на политическом горизонте волости — сначала стал секретарем, а потом и заместителем председателя ревкома. Спустя какое-то время бандиты жестоко расправились с председателем, и на его место каким-то чудом вынырнул Шевко.

Вот тут и прорезалась у человека падушая на власть: одно председательство уже не могло удовлетворить его, и Шевко стал прибирать к рукам другие должности. Когда нужно было выбрать военкома, он сам выдвинул свою кандидатуру. Тогда ревком состоял из трех человек. При голосовании новый секретарь поднял руку за Шевка, а заместитель — против. Такая сложная ситуация несколько не затруднила Шевка: он «персонально» проголосовал за себя. В тот же вечер Шевко мудрил с портными, как ему одеться, чтобы всем видно было, что он и войсковая и штатская власть. Те сшили ему такие галифе, в которых легко помещались две бутылки водки и добрая закуска. Потом Шевку показалось, что у него еще мало власти. Развернув активную деятельность, письменную и устную, он отхватил третью должность — стал председателем волостного комбеда — и тогда загордился на всю волость, а загулял на целый уезд. Чаше всего во время запоя он скрывался у дебилой круглолицей бублейницы Стефы. Опрокинув лишнюю, он каждый раз допытывался у вдовы, калачница она или бублейница.

— Доберется до тебя Советская власть, тогда все узнаешь, даже где раки зимуют, — беззлобно отвечала женщина, вертясь между печью и квашней.

— А я тебе не Советская власть? — ворошил на лбу веснушки Шевко.

— Тю, придумает же! Да у тебя на лице не власть, а все пьянки да гулянки пропечатаны! — не лезла в чужой карман за словом сероглазая бублейница и так вымешивала тесто, что оно прямо пищало в ее руках.

Спустя некоторое время Шевко до того обленился, что писарю часто приходилось таскать материалы на подпись в хату бублейницы. Небрежно взглянув на бумажки, Шевко неизменно спрашивал:

— А ошибок здесь нет?

— Есть, но только маленькие-маленькие,— знал, что сказать, писарь.

— Гляди, чтоб в будущем и маленьких не было,— поучительно говорил председатель и выкорючивал подпись.

Вскоре Шевко загремел со всех трех должностей. Правда, снимали его весело, под хохот людей и новой власти — дай бог чтоб каждого из нас, если придется, не хуже снимали. Со временем он смирился, понял, что политическая деятельность тяжеловата для его чересчур жизнелюбивой натуры, и нашел призвание в составлении заявлений или просьб за чарку бесовской крови. Что касается разной писанины и питания, он и в дальнейшем остался непревзойденным во всем уезде...

Чувствуя, что я не схожу с порога, дядько Шевко приподымает веки, и в его взгляде просыпается любопытство:

— Ты чей будешь?

— Панасов сын.

— Ага, Панасов,— соображает вслух.— Не со Столярской улицы?

— Угадали.

— Тогда здравствуй.

— Здравствуйте, дядько.

— Ты чего сюда притащился? Может, заявление какое надо написать? — И глаза у него делаются такими, словно их помазали смальцем.

— Нет.

— А чего? — У Шевка сразу же пропадает интерес к моей персоне.

— Тут такое дело, что лучше бы мне не говорить, а вам не слушать.

Дядько Шевко сразу вскидывается:

— Послушаем, послушаем, что ты изречешь.

— Хочу, чтоб мне книжку пояснили.

— Книжку? — Шевко пренебрежительно пожимает тощими плечами и уже кисло спрашивает: — Чего-нибудь не раскумекал?

— Ага.

— Выходит, не хватило соображения?

— Не хватило,— покорно соглашаюсь я.

— А ну, покажи ту книжицу, сейчас увидим, чем набита и чего стоит твоя голова.— Куцыми пальцами, в которые врезались прокуренные, круглые, как медные копейки, ногти, Шевко раскрывает книгу, долго вчитывается, удивленно шевелит бровями, в которые тоже набились веснушки, а потом спокойно, без единого слова возвращает обратно и прикрывает глаза веками.

Я совсем не рассчитывал на такое и оторопело смотрю на Шевка, затем покашливаю, но он и ухом не ведет.

— Так что вы мне, дядько, скажете? — наконец отваживаюсь спросить его.

— Что? А ты еще не ушел отсюда? — удивляются веки, веснушки и губы Шевка.

— Нет, не ушел.

— Так можешь идти. А скажу я тебе одно, если так хочешь: эту книжку будешь читать, когда больше каши съешь. Тут все дело в каше. Понял?

— Понял.

— Так и будь здоров.— Он снова закрывает глаза, а в углу начинает хохотать сторож. Я сначала растерянно смотрю на него, а потом тоже смеюсь, что же мне остается делать? И главное, я замечаю, что Шевковы веки начинают набухать смехом, хотя глаз и не открывают. Насмеявшись, я подхожу к сторожу и спрашиваю:

— Слыхали?

— От него и не такое услышишь,— добродушно смеется старый.— Никто не угадает, какие шмели гудят в его голове.

— Дед, а дядько Себастьян скоро придут?

— Он сегодня, верно, не придет, потому что целый день гонялся в лесах Кипорового яра за бандитами. И раненого коня от них привел.

— Красивого?

— Глаз не оторвешь! Прямо как у Георгия Победоносца. Везет же человеку!

— Везет! На него еще ни разу судьба не погрозила пальцем,— посмеиваясь, фасонисто переступает порог длинный и гибкий, словно торчмя поставленный уж, Юхрим Бабенко. Маленький картузик прикрывает его небольшую голову, в которой негде разгуляться добрым мыслям. А глаза у Юхрима такие, что и смех не может скрыть затаенной в них злобы.

— Молчи, шалопутный,— сразу ошетинился сторож.

— Не вижу в этом ни резона, ни политики, ни параграфа. Мы триста лет, фактически, молчали, нам нужно выговориться ровно за триста лет. Резон исторический? — так же снисходительно посмеивается Бабенко, снимает картуз и сдувает с него невидимую пылинку.— Я, дед, каким-нибудь параграфом не угодил вам перед генеральной уборкой комбеда?

— Скользяязычной брехней.

На тонких губах Бабенко разорвалась и снова сомкнулась усмешка.

— Ай-яй-яй, какие вы несовместимые стали в комбеде. Я знаю, что вы со своей метлой, натурально, подвластны Себастьяну, но это не резон, чтоб не иметь про него своей мысли и соображения ума. И что я сказал? Фактическую справочку: судьба не грозила на него пальцем.

— Так смертью, слышишь, смертью грозила!

— Это для биографии при новой власти интересно и даже выгодно.

— Да понимаешь ли ты, мусорник, что, если собрать все пули, что решетили Себастьяна, можно было б знаешь сколько галушек наварить?

— Галушек? — сначала удивляется Бабенко, а потом спокойненько любит картузом.— Это еще не факт.

— А что тогда факт? — совсем расвирепел старый и тучей двинулся на невозмутимого в своем френче и галифе Бабенко.— Может, то, что ты проколол себе палец, отвертелся от фронта, еще и инвалидность отхватил и теперь вот дуришь бабам головы своими соображениями?

Смех улетучивается из глаз Бабенко, они становятся круглыми, как пуговицы, и уже ненавистно впиваются в старого:

— Глядите, чтоб и ваша умная голова не задурилась: метла и для нее найдется.

— О моей голове не пекись — про свою богу молись. Хитростью и шарлатанством теперь не проживешь. Чего вытаращился? Не ожидал такого параграфа?

— А вы знаете, что я селькор? — вырывается у Бабенко, и он так поднимает руки, будто держит в них газету.

Но и это не пугает старого.

— Я знаю одно: тебе не хватило времени стать человеком.

— Это я не стал человеком?

— Ты. И какой из тебя селькор? В руках не перо, а лопата, чтоб рыть ямы для добрых людей...

Юхрим хотел чем-нибудь допечь старого, но в это время вошли, смеясь, обвешанные оружием, рослые и веселоглазые Артем и Сергей. В широких, пропахших степью и ветрами свитах с островерхими, лежащими на плечах капюшонами, они напоминали запорожских рыцарей, рядом с ними франтоватый Бабенко тотчас поблек, стал мизерным и мелким.

— Что, Юхрим, перчит святая правда? То-то оно и есть, на выкрутасах, видно, долго не продержишься, — смеются лесники, и на их плечах пошатываются по семь винтовок, а на поясах болтаются всевозможные бомбы и гранаты.

— Ого, сколько натрусили добра! — оживают Шевковы глаза. — Где разжились?

— На хуторах! — Лесники небрежно сбрасывают на пол винтовки и начинают немилосердно швырять в угол бомбы и гранаты.

— Что вы делаете? — ужасается Бабенко, и губы у него становятся белыми, как их окантовка. — Еще бабахнет какая-нибудь!

— Ну и что, если бабахнет? Дури и злобы из тебя все равно не выбьет. — Сергей, как мяч, кидает в угол лимонку, а новоиспеченный селькор, съжившись, зайцем выскакивает из помещения.

За ним дает деру Шевко, но около дверей его хватает могучая рука Артема и возвращает на место.

— Подожди, человек, сначала запиши, сколько мы приволокли этого непотребства, а уж потом удирай.

Страх и мольба делают меньше и без того небольшую фигуру Шевка, а лицо становится таким, словно на него дохнула смерть.

— Да я еще, хлопцы, хочу хоть день прожить.

— Проживешь, проживешь, никуда не денешься.— Сергей для убедительности кладет на стол аршинную бомбу и плутовато глядит на Шевка. Вытирая рукой пот со лба, Шевко съезживается в клубок, отодвигается на самый краешек стола, судорожно что-то пишет и отдает бумажку Сергею. Тот вверх ногами переворачивает листок и со знанием дела смотрит на него.— Все записал?

— Все, все!

— Теперь, может, посидишь с нами? — Сергей сапогом поправляет потресканную гранату, что выкатилась из угла.— Про жизнь поговорим.

— Некогда, некогда.— Шевко, косясь на гранату, мигом испаряется, а вдогонку ему несется раскатистый смех.

Я восторженно смотрю на лесников, и мне хочется быть таким же стойким, смеяться таким же искренним и добрым смехом, как они.

Сторож охапкой выносит оружие в холодную, где когда-то держали арестантов, а лесники достают кистеты, зажигают огромные самокрутки и подходят к окну.

К земле уже склонился звездный вечер, с огородов потянуло чернобривцами, подсолнухами, привялыми коготками. Лесники смотрят на небо, перекидываются скупыми, вескими словами.

— Было ж сегодня...— задумчиво вспоминает Сергей.

— А было,— вздыхает Артем.

— Около скита могли укоротить голову.

— А чего ж...

— Все к нашему берегу.

— Говорят, снова банда Гальчевского объявилась.

— Вот интересно, живет кто-нибудь на небе?

— Живет.

— Гм... А ты откуда знаешь?

— Если б не жили, кто б там светил?

— Разве ж то люди светят?

— Они. Откуда без них взяться огонькам?

— Неужели там, на небе, такая же теснота, как у нас?

— Видно, такая же. Сам подумай: с чего бы на месяце Каин взял Авеля на вилы? Все из-за тесноты.

Удивляясь таким догадкам, я тихо выхожу на улицу. Уже, может, и поздно идти к дядьке Себастьяну, но так хочется увидеть отбитого у бандитов коня!.. Я понимаю, что хитрю сам с собою... Поколебавшись, бегу к плотине, над которой тихо шумят раздвинутые в стороны вербы. За плотинной дорога берет правее, вдоль пруда, а за ним и дядько Себастьян живет. На конях проехали лесники, узнали меня, засмеялись, и снова такая тишина кругом, хоть мак сей.

Вот и хата дядьки Себастьяна, на крыше темнеет большое лохматое гнездо, в нем живут аисты, а под ним — воробьи. На дворе стоят привязанные к плетню кони, а из раскрытых дверей я слышу голоса лесников и дядьки Себастьяна.

— Да какое это оружие,— презрительно говорит Сергей.— Вот в прошлом году было его, как навоза. Тридцать подвод вытрясли из села.

— Было такое,— смеется дядько Себастьян.— Подерутся, бывало, хлопцы с разных улиц и пускают в ход не только ружья, но и пулеметы.

— Много железа добыто, а пахать нечем,— вздохнул дядько Артем.

Я осторожно из сеней всовываюсь в хату и прижимаюсь к притолоке. Дядько Сергей первым замечает меня и тычет пальцем в мою сторону:

— Вот и гость! Тебя где ни посеи — везде взойдешь.

— А чего ж,— бормочу растерянно, хотя и понимаю, что смеются они по-хорошему, не со зла.— Добрый вечер.

— И тебе добрый,— степенно отвечает дядько Себастьян, немного удивленно, но приветливо глядя на меня.— Садись.

— Я и постою, большим вырасту,— немного смущаюсь от такого внимания к себе.

— Садись, садись, скамьи не просидишь.— Председатель комбеда встает из-за стола, высокий, красивый, горбоносый, с латочками ветряных пятен на щеках, а



чуб такой, словно его из пламени выхватили.— Так как твои дела, парень? — Он так хорошо, без тени насмешки говорит «парень», что мне кажется, будто я за сегодня подрос и для себя и для людей.

— Ничего себе идут дела, дядько Себастьян,— с до-

стоинством отвечаю ему, а лесники уже собирают на лицах морщинки, чтоб засмеяться.

— Отец пишет?

— Пишут и снова передавали вам поклон.

— Спасибо, спасибо. Скоро приедет?

— Наверно, скоро, если будет тихо на свете.

Лесники дружно гикнули, а дядько Себастьян прижмурился, и на них глянули только его ресницы. Но и от этого лесники утихомирились, повернули головы к маленькому желтозубому пианино, тому самому, про которое знает в селе и старый и малый.

Когда пришла революция, крестьяне давали господам расчет — забирали у них и землю, и то, что на земле было. А дядько Себастьян не приобрел в экономии ни коня, ни коровенки, ни плуга, а привез пианино и этим развеселил не только свое село, весь уезд: кто только не потешался и не смеялся над этим дивом. Даже родной отец не выдержал такой картины и приковылял, чтоб палкой поучить сына.

— Трясця твоей матери! — закричал старый еще с улицы.

— А-а-а, это вы? — засмеялся Себастьян. — Добрый день, батько.

— Ты еще и смеешься, выродок? — поднял палку старый.

— А что ж, плакать? — Сын снял картуз.

— Лучше бы заплакал, пустоголовый, если растерял обручи от макотры. Ты что, белены объелся или от большого ума придурковатым стал? Когда и кто на всем белом свете видел у нашего мужика пианину?

— Так еще увидят, отец. Есть время! Вам открыть ворота?

— Ой, не открывай, сучий сын, а то сломаю на тебе палку! — тряслась на голове старого седина. — И чему только вас большевики учат?

— Да кой-чему учат.

— Оно и видно по тебе. Разве нам до музыки? Мужицкая музыка — цеп и коса!

Себастьян упрямо тряхнул своим густым огненным чубом.

— Я, отец, с четырнадцатого года и по нынешний день столько наслушался адской музыки, что эта мне будет как лекарство.

— Лекарство! — передразнил старый. — Твое лекарство теперь сало и смалец. Хоть бы задрипанного кабанчика из экономии приволок. Так нет, не хватило на это ума. Все село смеется и над тобой и надо мной.

— Это хорошо, если смеется, лишь бы не плакало. Может, послушаете немного музыки? — кивнул головой на хату.

Старый огляделся по сторонам и понемногу начал утихомириваться.

— И что, оглашенный, таки выучился хоть немного бренчать какую-нибудь барыню-сударыню?

— Зачем нам такое непотребство?

— А что-нибудь играешь?

— С горем пополам.

— Кто ж тебя научил?

— Революция!

— Революция?.. — задумался старый. — Что ж, она может. Ну иди заиграй.

— А чего ж вы в хату не идете?

Старый покосился на улицу.

— Чтоб не сгореть со стыда. Ты играй, а я тут сяду и ругать тебя буду: пусть насмешники видят, что я крепко против твоей дурости стою.

Опираясь на посох, старик сел на завалинку. А из хаты вскоре послышались музыка и песня про те василечки, что всходят на горе, про тот барвинок, что стелется под горой. И разглядел старый сквозь затуманенные годы свои далекие-далекие василечки, и тот барвинок, и молодую жену — он только в молодости и видел их...

Ой, какой голос у сына, за него можно даже без пианино в театрах платить. А вот долго ли он протянет без сала и молока? Если бы на войнах и в революцию так изрешетили не его сына, а бесчувственное железо, то через него можно было бы просевать зерно... А ему и теперь василечки всходят, барвинок стелется... Чудными становятся люди: смотришь, вчера был мужик, а сегодня уже и не мужик... Что только дальше из этого будет? Говорят, опять все заграницы на нас войско собирают, и тогда снова покатаются по путям и дорогам головы сынов, а по селам затужат похоронные колокола и вдовы...

Лесники прощаются с дядькой Себастьяном, и он только теперь спрашивает, чего я пришел.

— Да вот... если можно, хочу посмотреть на того коня, чты вы у бандитов отбили.

— Уже пронюхал? — смеется он.

— Ну да. Говорят, такой конь только у Георгия Победоносца был.

— Славный. Жаль только, что под убийцами ходил. Ну, теперь походит в плуге. Вот выздоровеет — тебя прокачу на нем. Хочешь?

— Ой, хочу!

Мы выходим из хаты и вдоль завалинки идем в маленький садик, где темной копной лежит раненый конь. Услыхав наши шаги, он тихо и жалобно заржал. Шея у него перевязана вышитым полотенцем. Дядько Себастьян погладил коня, сказал ему несколько слов и вытер слезы.

— Плачет, бедняга, от боли,— сказал с сочувствием.— Понимаешь, Михайло, такой умный конь, что, кажется, вот-вот заговорит.

И я верю каждому слову дядьки Себастьяна. Даже если бы он сказал, что слышал, как говорит скотина, я и то поверил бы.

— Ну что ж, Михайло, пора тебе домой. Там уж мать, верно, ждет не дождется тебя. Проводить?

— Не нужно, я сам.

— Не боишься?

— Не боюсь... Я еще хотел попросить, чтоб вы мне хоть немного растолковали одну книгу.

— Сейчас?

— Если можно...

— Ну, раз дело это очень срочное, так пойдем к свету.

В хате он раскрывает книжку, сначала удивляется, потом сосредоточивается, насупливает брови, морщится так, что на щеках появляются бугорки.

— Ты где ее взял, такую умную?

— У попа...— Рассказываю, как было дело.

— Ага! — злорадно говорит дядько, а лицо его так краснеет, что даже исчезают обветренные латки на щеках. Он переворачивает несколько страниц, снова вчитывается, наконец встает из-за стола и, глядя мне в гла-

за, говорит: — Михайло, эта книга про небо. А для нас теперь главное — знать землю, знать и делить ее бедным людям. А потом уже будем добираться до неба. Завтра же отнеси книгу попу и передай ему, что я просил давать тебе книги, которые ты сейчас сможешь осилить. Еще скажешь, что я загляну к нему, и завтра вечером снова приходи ко мне. Понял?

— Понял.

— Так будь здоров,— прощаясь, протянул он свою большую горячую руку...

Сколько лет прошло с тех пор! Я уже начал было забывать эту давнюю историю с космографией, когда от небольшого ума хотели надсмеяться над малым мужицким ребенком. Но все это всплыло в памяти в тот день, когда крестьянский сын нашей родной земли впервые в истории человеческой поднялся в космос... В самом деле, хорошо смеется тот, кто смеется последним!

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Михайло, вставай! Слышишь?

— Де-ед, еще немно-о-жечко...— никак не могу раскрыть отяжелевшие веки, а в это время трескается и, как льдина, расползается мой добрый сон с предрассветными мглистыми полями и разворошенными копнами на них, с долиной и склонившимися над старым прудом дуплистыми вербами. Я хочу все это соединить, но руки мои вцепились не в лоскуты полей, не в деревья, а в рядно, которое стягивает с меня дед. Голос у него мягкий, ласковый, будто дед тоже из сна.

— Вставай, вставай, Михайлик! Кто долго спит — коня не купит.

— А я не хочу покупать коня,— пытаюсь отбиться от деда.— Не хочу, и все!

— Так какой же из тебя хозяин будет? — подсмеивается дедусь.— Чего бы мы стоили без скотины? Вставай.

— Дед, хоть капельку...

— Нисколько тебе эта капелька не поможет. Уже совсем рассвело, и завтрак ждет на столе. Слышишь, как пахнет,— вытаскивает меня дед из сна.

Я вдыхаю воздух, но не знаю, что это пахнет — при-
свившиеся поля, набитый сеном мешок, на котором я
сплю, привялая зелень на божнице или еда. Наконец,
жмурясь, я встаю с узенького топчанчика, который сде-
лал для меня дед.

За окнами еще дрожит голубоватый сон, под ним
поблескивает росинками сизый спорыш, а на востоке
ширится небесная прозелень, нежно вызолоченная не-
видимым солнцем. А в хате по углам, как нищие, жмут-
ся тени.

— Проснулся наконец,— сочувственно поворачи-
вается от печки мать, на лице ее меркнут и вспыхивают
блики, а на рукавах оживают вышитые цветы. Хоть мы
и бедные, но цветы у нас повсюду — и в огороде, и на
печи, и на полотне, в которое мы одеты.— Что-нибудь
снилось тебе, сынок?

— Забыл,— еле выжимаю из себя одно слово. Спро-
сонья и язык и губы не ворочаются. Днем другое дело:
мать говорит, что мне нужно дратвой зашить губы —
будто уж не на что тратить дратву.

— Умывайся, умывайся, внучек,— торопит меня
дед.— Пора вести лошадь.

Вода и полотенце стирают последние сгустки сна,
и теперь я чувствую, как на всю хату прокисшим хме-
лем пахнет тесто, горячий рассыпчатый картофель и ржа-
ные лепешки. Дедусь знает, что я люблю горячие ле-
пешки, он берет одну прямо с черной сковороды, разла-
мывает на четыре части и, дымящуюся, протягивает
мне:

— Натирай чесноком, ешь и расти большой!

Сбылись бы дедовы слова, так, может, не крутили
б тобой по-всякому. Чуть что не так, сейчас же стыдят:
«Такой большой, а что вытворяет. Ты что, стыд и клеп-
ки заодно потерял?» А что-нибудь попросишь — совсем
другое запоют: «Ты еще маленький. Вот когда под-
растешь...»

Но почему-то люди растут не так быстро, как им
бы хотелось. Это только грибы после дождя за одну
ночь выскакивают из земли и уже друг перед дружкой
хвастают шапками. Вспомнив об этом, я немного весе-
лею. Дед заметил и ласково жмурится:

— Видишь, какие веселые у нас лепешки, а ты вста-
вать не хотел.

— Дед, можно повести лошадь в лес?

— Можно и в лес, там такая красота теперь,— охотно соглашается дед, который с детства сроднился с лесом.— Только далеко не заезжай.

— И торбу мне дайте побольше: может, как раз на опенки нападу.

— Вот и хорошо,— соглашается мать.— Все какой-то приварок в доме будет.— Она поднимает тяжелую крышку сундука и достает мне мешочек, сшитый из широкого рукава сорочки, на нем красные цветы — мать вышивала их еще девушкой.

Во дворе уже пофыркивает и нетерпеливо бьет копытом наша лукавая хитрюга. Увидев меня, она приветливо мотнула головой: садись, мол, быстрее, и мне пора завтракать. Знаем твой норов: пока голодна — покорна, а напасешься — не подступиться к тебе! Ощерив зеленоватые зубы, серая подходит к порогу и начинает тереться о мое плечо. Ишь как поддабривается с утра. Я ей выговариваю, какая она паршивая, непослушная и вредная, а ей хоть бы что — снова ткнулась в мой бок и торопит на росистую пашню, в которой путаются ключья тумана.

Вот и солнце выкатилось из-за чумацкого шляха и повисло меж крыльями ветряка. Дед широко распахивает ворота, и я, поеживаясь от утреннего холодка, который трогает мои плечи, выезжаю со двора. И сразу радостно-радостно становится на душе: вспомнился вчерашний разговор с дядькой Себастьяном, представил себе, как буду сегодня говорить с попом и возьму у него другую книжку, и рассмеялся.

— Ты чего, разбойник, хохочешь? — неожиданно отозвался откуда-то сбоку дядько Микола. За плечами у него покачивается коса, за поясом торчит кушка¹.

— А разве ж нельзя? — смеясь, останавливаю перед ним лошадь.

— В постный день нельзя.

— А я уже сегодня скоромину ел.

— Оскоромился, значит? — Грозно топорщатся серповидные усы.

¹ Берестянка с водой и с брусом, для правки кос.

— Осквернил,— смиренно признаюсь, сразу догадавшись, что дядько Микола только прикидывается сердитым.

— Я ж вижу, что у тебя жернова блестят,— покрутил пальцем около своей щеки дядько Микола.— И что ж ты наминал из скоромины?

Зная нрав дядьки Миколы, я тоже начинаю немилосердно привирать:

— Да вот лакомились вепрятиной с ржаными коржами, натертыми чесноком. Мать сегодня как раз хлеб печет...

Но дядьку уже не интересуется, что печет мать. Он косо поглядывает на меня и переспрашивает:

— Вепрятиной? А ты не того... не брешешь?

— Ой, такое скажете про малого.— Я внешне обижен, а внутри смеюсь, как часто делает дядько Микола, у него эту науку проходил.

— И какая ж она на вкус?

— Да какая — сало как сало, только немного дубоватое и желудями пахнет.

Это убеждает дядьку Миколу.

— И где же вы ее откопали? — удивляются его глаза, нос, губы и морщинки на лбу.

— Где? — Я отчаянно пускаюсь вплавь: — К нашей свинке повадился веприк. Только стемнеет, а он уже — хвост бубликом и чешет из лесу в наш двор: добрый вечер вам...

— Ах ты разбойник! — расхохотался дядько Микола.— А я, старый, уши развесил, чуть не поверил баламуту. И в кого только ты пошел?

— В кого? А вы спросите у моей мамы,— смеюсь и я.— Она иногда говорит, что не только в оглашенного, а даже в вас.

Это еще больше развеселило дядьку Миколу. Он вытер рукой сначала глаза, потом усы, покачал головой и подбодрил меня:

— Вот так и живи, парень, с радостью! А если и приврешь для смеха, не беда. Кисляем не хитро быть. Так будь здоров! — И он, упорный, веселоглазый, не сгибаясь, идет с косою по земле, чтоб до последнего своего дня разбрасывать по ней солнечную щедрость души.

После разговора с дядькой Миколой все для меня повеселело вокруг: и перекресток улиц с еще не растоптанной росой, и открытые настежь хаты, и женщины в очипках, выбегавшие с ведрами по воду, и девчата в платочках, которые гнали в стадо коров, и идущие по тропке рыбаки, один с сакон, другой с длиннющим шестом, и звон косы, которую кто-то отбивал в саду, и стон мостка под копытами коня, и вон тот лоскут тумана, что зацепился за изгородь и не знает — прильнуть ли к земле или подняться вверх.

Я проезжаю село, старую вырубку, что стала покосным лугом, Богачев хутор, колок — синюю латочку леса в полях — и оказываюсь в лесу, что сверху кутается небом, а снизу туманцем. Как хорошо здесь голубеет между кленами! А сами клены стали какими-то всполошенными — вот-вот кинутся наутек, а то еще полетят за перелетными птицами; у их ног всхлипывает и всхлипывает родничок, а какая-то птаха утешает его, она прыгает с листка на листок, поет и ничуть не беспокоится, что где-то за лесами синеет холод. Он уже погнал на юг стрижей, журавлей и лебедей, а гуси и утки только готовятся к перелету. Больше всего мне жаль лебедей и того грустного звона, который они оставили в моей душе. И жаль, что осень моя проходит в полях, дубравах, а не в школе. Единственная надежда на отца, — может, он скоро вернется и достанет мне из мешка сапожки...

Мысли несут меня на своих крыльях к отцу, я вижу, как он вернулся, а тем временем лукавая кобыла уже пощипывает траву и намеревается скинуть меня.

Я соскакиваю на землю, опутываю хитрюге передние ноги и прикидываю, куда бы это махнуть по грибы — в березняк или в сад Костюков, где весной водятся сморчки, летом — земляника, а осенью — опенки. Правда, опенки у нас не ценятся, — если они есть, их и пятилетний малыш насобирает. То ли дело найти боровик! Он умеет так притаиться, что не всякий зоркий его увидит. Для меня встреча с боровиком или с более беспечным красноголовцем¹, который очень любит похвастать своей шапкой, всегда бывает неожиданной и радостной. И я не могу, как другие, сразу хватать гриб: мне нужно

¹ Подосиновик.

приглядеться, присесть, пошептаться с ним и уже тогда орудовать ножом.

Я пускаю понизу песню, а сверху за дорогой голосом поглубже откликается эхо — ему, видно, тоже хочется петь.

Ой, диби, диби, диби —
Пішов дід по гриби,
Баба по опеньки.
Дід свої посушив,
Бабини — сиренькі.

А почему бы ей тоже не посушить? Все-таки было бы что бросить зимой в борщ. Да и соленые опенки вкусны, если их полить постным маслом. А от пирогов с опенками кто откажется? И хоть я только из песенки знаю бабу, которая поленилась сушить опенки, но упрекаю ее, неодобрительно покачиваю головой, а потом снова подаю голос и жду ответа. И эхо снова отзывается. Сбивая росу, я спешу к нему, а глазами так и стреляю во все стороны. Вон около пенька расфуфырился мухомор, красная его шапка блестит, будто жиром смазанная, а в нее впились белые крапинки; немного дальше синеют хрупкие сыроежки. Но я их не беру: пока дойдешь домой, они сотрутся в мусор.

Ой гайку, гайку.
Дай мені бабку.

И гай, не долго думая, дает мне бабку¹. Она примостилась под растресканным корневищем березы, ножка у нее темная, чешуйчатая, верх серенький, а низ жемчужно-белый и просвечивает розовым. Но это место не грибное. Пойдем дальше, туда, где небо словно льется в лес и стряхивает с него листья.

И вот уже стало понизу серебряно-серебряно, выше — золотисто, а вверху — голубовато. Это березняк, что породнился с пугливой осинкой. Есть ли ветер, нет ли, а она, позеленев, дрожит и дрожит, словно холод и испуг пронизали каждый ее листок. Тут я приглядываюсь внимательней: это ж такое место, где не только земля, но и дерево пахнет грибами.

¹ Подберезовик.

Я приседаю на корточки и тихонько присматриваюсь, что творится вокруг. Шуметь нельзя, а то гриб испугается человеческого голоса и уйдет в землю. Вдруг сердце мое дрогнуло, опустилось немного вниз и радостно замерло: невдалеке от ядовитого стебля вороньего глаза красуются два близнеца-красноголовца. Они такие молоденькие, что их орошенные туманом картузики не успели отлепиться от крепких толстеньких ножек.

— Добрый день, хлопцы-красноголовцы! — говорю я им, а они молчат.

Ого, а что делается за ними! На заросшей кукушкиным льном кочке стоит огромное красноголовище! Шапка у него набекрень и величиной с тарелку, а ножка не тоньше моей руки. Сначала я его называю старостой, а потом атаманом красноголовцев. Такого я никогда не видел. Подбегаю к нему, примеряюсь со всех сторон, люблюсь, потом бережно срезаю и кладу на соломенную шляпу сверху, потому что в нее атаманова шапка не влазит. Теперь будет чем похвалиться дома! А вон только-только проклюнулся грибочек, у него еще и ножки нет, а шапочка даже не успела покраснеть. Ну, этот малыш пусть себе растет...

Ох и счастливое же утро сегодня! Я насобирав полнехонькую торбу и еще шляпу красноголовцев. Даже серая, кажется, удивилась.

В село въехал как победитель. Все, кто встречался мне, хвалили моих красноголовцев и спрашивали, где я их насобирав. Я торжествовал в душе, но место грибное не утаил. Встретил меня и Юхрим Бабенко, любивший, как известно, на дармовщинку хорошо поесть.

— Это сам столько набрал красноголовцев? — недоверчиво округлил он свои хитрые глаза.

— А на что б я нанял помощников? — спросил я, гордо держась на своей кобыле.

— Смотри, как подфортунило.— Юхрим придержал лошадь и полез сначала в шляпу, затем одним глазом нырнул в торбу, чтобы удостовериться, что там нет червивых.

«Ну поищи, поищи», — свысока гляжу на старого парубка. Я не забыл, как пожалел он дать мне хоть на один день «Приключения Тома Сойера».

— Славные грибы, ничего не скажешь, — позавидовал Юхрим.

— И не говорите,— загордился я так, что даже Юхрим заметил.

— Что-то важничаешь ты сегодня.

— А чего ж,— степенно отвечаю я.

— Рано еще тебе кочевряжиться.— Юхрим оглянулся по сторонам и понизил голос: — Может, теперь будем сватами?

— Как это? — не понял я.

— Товар за товар: ты мне грибы, я тебе книжку.

— Ну? — удивился я и не поверил Юхриму: кто ж не знал этого обманщика.

— Правда, правда. За эти грибы, если хочешь, дам тебе почитать аж «Приключения Тома Сойера».

Ага, вот она, щедрость этого воробьиного пугала.

— Только почитать? — переспросил я.

— А ты думал как? — удивился Юхрим.— Что ж это, я сам не могу набрать грибов?

— Вот и собирайте сами! — отрезал я, потому что в голове у меня созрела одна мысль.

— Подожди, придет еще коза к возу, «Тома Сойера» во всем селе нет,— отозвался Юхрим, когда я отъехал от него.

Мне хотелось показать ему язык, но иногда я тоже могу быть вежливым. Поэтому я повернулся к Юхриму и с укором покачал головой: хоть ты, мол, и длинноват, да ум коротковат.

Свернув вправо, я кривыми улочками и переулками добрался до двора дядьки Себастьяна. У порога я долго морщил лоб, что бы такое сказать председателю, но в хате никого не оказалось. Это и лучше сейчас для меня. Крутнувшись для храбрости на одной ноге, я подошел к пианино, поднял черное веко, но ударить по тем желтым зубам, что держат в себе или под собой музыку, не отважился. А верно ж, есть на свете счастливицы, что с детства могут играть на таком чуде? Вздохнул, бережно закрыл веко, высыпал на скамейку грибы из шляпы, добавил немного из торбы, и так мне отчего-то хорошо на душе стало, что и не сказать...

После обеда, когда мать с бабушкой пошли на огород, а дед под навес, я взял «Космографию» и тихонько выскользнул со двора. Поповские гончие и старый пес встретили меня точнехонько как вчера. Но сегодня к воротам вышла не Марьяна, а кучер Антон, которого про-

звали недоломанным. Из-за любви к необъезженным коням у него были поломаны ребра, руки, ноги и нос. Наверно, что-то еще осталось у него несломанным, раз его так прозвали. Но и сейчас дядько Антон, хромя и выгибаясь, мог вскочить на любого жеребца, клещом впиться в него и скакать так, что только пена летит.

— Ну и что ты скажешь? — вместо приветствия спрашивает из-за калитки дядько Антон.

— А что именно вам надо? — не лезу я за словом ни в карман, ни к затылку.

— Эге, чего мне только не надо, а главное — иметь свою пару коней.

— Вот чего-чего, а этого я пока еще вам не могу дать.

Мой ответ понравился, дядько широко улыбается и вспоминает «Интернационал»:

— Да, никто не даст нам избавленья... Ты к попу?

— Ну да.

— И какое ж у тебя к нему дело?

— Хочу книжку ему отдать.

— Тогда иди за мной.

Я иду за дядькой Антоном, но с моими ногами что-то начинает твориться: с каждым шагом они все больше деревенеют, а в душу заползает робость, и все вспоминается вчерашнее. Те проклятые раки, которых я вчера пек в поповской светлице, сейчас начинают ворошить клешнями на моих щеках.

Было бы где взять книгу, так кто бы меня тут увидел?..

Дядько Антон, уважительно сгибаясь, стучит в двери светлицы, потом решительно дергает их, и у меня от папирозного дыма темно в глазах. За столом насупились над шахматами поп и его чадо, а табачная гарь завлакивает не только их, но и золотиликую богоматерь с сыном под самым потолком. Не слыша своего голоса, я здороваюсь, поп, не оборачиваясь, кивает мне патлами, а попovich весело (он, видно, выигрывает) кричит:

— Вот и ученый муж изволили к нам прийти!

Я молча выслушиваю насмешку, но попovichу не терпится поговорить со мной, и он, кося одним глазом, спрашивает:

— Ты, может, и в шахматы умеешь играть?

— А чего ж — умею.

— Что, что?! — Он даже приставляет к уху ладонь, — может, ему в ту минуту уши позакладывало? — Шутись или смеешься, хлопец?

— Нет, не шучу и не смеюсь.

Теперь и поп смотрит на меня своими седыми от старости глазами.

— Ты в самом деле умеешь играть в шахматы?

— А чего ж, — уже смелей повторяю я, — очень хорошая игра.

— И он уже понимает, что хорошо, — попович хмыкнул, а потом, уставившись на меня, ткнул пальцем в черную фигурку, которая завершалась белым кончиком: — Что это такое?

— А вы будто не знаете? — чуть не прыснул я — это ж надо уметь такое спрашивать.

— Мы-то знаем, — ехидно цедит попович и настойчиво тычет в фигурку. — Так что это?

— Король!

— А это?

— Хверзь.

— Не хверзь, а ферзь! — строго поправил меня попович.

— Пусть будет по-вашему, — соглашаюсь я.

— А как ходит конь?

— По букве «г».

— Это невероятно, — отчего-то волнуется попович, и на его физиономии просыпается интерес ко мне. — Кто ж тебя учил играть?

— Красные казаки, когда они стояли на нашей улице.

Мой ответ не очень понравился попу с сыном. Они переглянулись, и попович от шахмат перешел к книге.

— Прочитал? — глянул на «Космографию», и в его темных с поволокой глазах снова заиграла насмешка.

— Да нет.

— Поленился? Или, может, не понравилась книга?

— Тоже не угадали. Дядько Себастьян просил передать, чтоб вы, если захотите, давали мне такие книги, которые я смогу прочесть.

Мои слова сразу ошеломили и отца и сына. Они многозначительно переглянулись, скрестили на мне взгляды и одновременно потянулись к папиросам.

— Так, так, выходит, ты к дядьке Себастьяну ходил? — начинает допытываться попович. — К начальству, значит...

— Он для меня не начальство, а просто дядько Себастьян.

— И что ж ты ему сказал? — зашевелилось подозрение в уголках обрюзгших поповых губ. — Может, жаловался?

Тут меня начинает разбирать злость: ишь что им в голову пришло! И я с достоинством отвечаю:

— Я никогда ни на кого не жаловался, даже когда меня понапрасну били. Потому что я хлопец.

— Вот как! — удивился поп, и в его мгlistых зрачках появилось что-то похожее на усмешку.

— А все-таки, что ж тебя погнало к председателю комбеда?

— Я только хотел попросить, чтоб он помог мне разобраться в книге. Очень трудная...

— Ладно, ладно, парень, — успокоил меня поп и уже веселее сказал: — Я сейчас подыщу тебе очень интересную книгу, в ней все поймешь.

— Вот не было печали... — ни к кому не обращаясь, сказал попович и легонько стукнул кулаком по столу.

Отец строго взглянул на сына, подошел к другому шкафу, отомкнул его и стал там рыться. Еще не найдя книги, он обернулся ко мне и сказал:

— А ты, видно, парень не промах.

— Это когда как, — ответил я, потому что так оно и было, а поп усмехнулся.

Вскоре я выскочил из прокуренных поповских комнат с «Тарасом Бульбой» в руках. Это, верно, про кого-то из наших, потому что дядьку Миколу по-уличному тоже прозвали Бульбой.

Приведя кобылу в лес, я хотел сегодня еще насобирать грибов, но, дорвавшись до книги, забыл и про грибы, и про кобылу, и про лес. Я и не опомнился, как роса и вечер упали на дубравы. Душа моя смеялась, грустила и летела на Запорожье к славному казачеству.

Вечером, помня слова дядьки Себастьяна, я снова пошел в комбед. Теперь тут было немало людей, некоторые приходили прямо с работы, и поэтому вдоль стены стояли косы, цепы, вилы, грабли, а на полу лежали то-



поры и пилы. Я тихонько забрался в угол, ожидая, пока дядько Себастьян кончит разговор с людьми. Мне очень хотелось похвастать книгой. И вот, когда последний комбедовец закрывал за собой дверь, я высунулся из сеней навстречу дядьке Себастьяну.

— Здорово, хлопец! — весело и, как всегда, без насмешки здоровается со мной председатель комбеда, еще и руку подает. Разве от одного этого не проникнешься уважением к человеку и не подумаешь о себе, что ты тоже чего-то стоишь? — Уже, смотрю, достал новую книгу? — На губах шевельнулась усмешка.

— Достал.

— И что оно, и к чему оно? — берет председатель книгу в руки.

— «Тарас Бульба»! — говорю важно.

— Тарас Бульба? Кто он?

— Казак... — удивляюсь я: неужели дядько Себастьян не читал этой книги?

— А он, этот Тарас Бульба, за нас или против нас был?

— За нас. Разве вы такого не знаете?

— Знаю! — раскрывает книгу дядько Себастьян.— Но хочу, чтоб и ты в такое время знал, кто за кого стоит: за нас или против нас. Понял?

— Понял.

— Тогда садись, сынок, за стол, и почитаем вместе умную книгу.

— О! — вырывается то самое «о», которое у меня то радуется, то горюет, то не верит, то отнекивается, то удивляется.

— Не «о», а садись, когда старшие говорят.

Я сажусь за толстоногий графский стол, а председатель комбеда достает из шкафа красную материю, расстилает ее, и в комбеде, и у меня на душе сразу становится торжественно. Дядько Себастьян садится рядом со мной, кладет мне руку на плечо, и я невольно прижимаюсь к нему.

— Михайло, это ты мне сегодня грибы принес? — неожиданно спросил председатель комбеда.

Я не знаю, что сказать, и молчу.

— Ты? — поднимаются на меня глубокие продолговатые глаза, в которых сейчас стынет грусть.

Я почему-то начинаю думать, что не так, как нужно, сделал, и виновато говорю:

— Я, дядько Себастьян.

— А зачем?

— Зачем? — дрогнул мой голос.— Потому что я вас, дядько Себастьян, люблю.

— Вот как? — грустно и как-то растерянно усмеяется он.— Ну, спасибо, Михайло, и за любовь, и за грибы... Я тебя тоже люблю, дитя. Но больше ничего не приноси мне. Это впервые за свое председательство принимаю подарок. Возьми и ты от меня,— достает из кармана длинную в цветной обертке конфету, на которую я только глядеть мог в ярмарочные дни.

— Спасибо, дядько Себастьян,— осторожно беру такую роскошь в руки.— Может, пополам?

— Соси один,— засмеялся он.— Спать еще не хочешь?

— Нет.

— Тогда читай. А устанешь, я буду.

— Э нет,— не соглашаюсь я.— Может, вы начнете, потому что я уже знаю свой голос.

— Никто из нас, Михайло, еще не знает своего голоса,—многозначительно говорит дядько Себастьян. И хотя я еще мал, но за его словами чувствую что-то необычное и волнующее.

— О чем это вы, дядько?

— О том, дитя, что неизвестно, кем завтра или послезавтра можем мы стать. Не всегда ж будут такие беды, что посеяла война. Сегодня тебе, бедняцкому сыну, не в чем в школу ходить, а там, глядишь, ты сможешь в науку пойти и даже учителем стать — такое время настало.

Веря и не веря, я запоминаю слова про «такое время», которое одни проклинают, а другие готовы отдать за него жизнь. И думаю: неужели я когда-нибудь смогу учителем стать?

— Дядько Себастьян, а вы не того... не шутите?

— Ты о чем? — председатель комбеда собирает у глаз добрые морщинки.

— О том, что я даже учителем смогу стать.

— Не шучу, Михайло... Вот когда-нибудь, когда выучишься, вспомнишь мои слова, вспомнишь и меня, уже старого. И тогда в хату мою заглянешь и меня чему научишь. Так не забудешь?

— Разве такое можно забыть? — вздыхаю, снова веря и не веря в то, что, может, и сбудется «такое время». А растревоженные мысли на своих новых крыльях несут меня, малого, к тем годам, когда я, уже учитель, вхожу в дом постаревшего дядьки Себастьяна и приношу ему не грибы, а уважение и признательность...

Дядько Себастьян, мой первый добрый пророк, моя радость и печаль. Давно уже нет вас, но всегда мне светят ваши глубокие и добрые глаза, ваша сердечность навсегда осталась с людьми, которые знали вас. И пусть вам памятником будет людская благодарность и мое слово...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

После того вечера я часто приходил в комбед к дядьке Себастьяну, и, когда у него было время, мы вместе читали какую-нибудь книгу, газеты или говорили о всякой всячине, а больше всего о том, что ждет людей в бу-



душем, когда сгинут корни и семена войн, человеческой вражды и нищеты, когда не вихрь свинца, а метель цветения окутает человека и добрый разум войдет в каждую хату. Дядько Себастьян развертывал передо мной величие надежд, и на их лебединых крыльях летела в будущее моя ребячья душа.

— Вот и наговорились, и заговорились, а время идет.— Он подходил к окну, смотрел на звезды, а потом выдвигал ящик графского стола и доставал оттуда кусок черного хлеба, головку чеснока, а иногда и сало, и это была такая роскошь, какой, наверно, не знали и цари. Теперь уж дядько Себастьян рассказывал всякие небывлицы, издевался над панами, попами и королями, а я смеялся, не забывая, однако, своего: получится или не получится из меня учитель... И не раз я тогда видел себя уже учителем в ситцевой сорочке и даже в ботинках.

Мать сначала сердилась, что надоедаю председателю комбеда, а потом привыкла и, когда я в темноте на ощупь тянулся к своему картузу со сломанным козырьком, шутливо спрашивала:

— Уже на вечерницы спешишь?

— Нет, на всенощную,— весело смеялся я и выскальзывал из хаты в те вечера, что навеки оставили мне свои звезды.

В один из таких вечеров мы засиделись за книгой и не заметили, как осторожно скрипнула дверь. На пороге стоял незнакомый мне человек, рослый, в кудлатой шапке, с обрезом под мышкой. От неожиданности я вскрикнул, а дядько Себастьян молниеносно вскочил из-за стола и схватился за стеер. Незнакомый как-то неуверенно поднял огромными ручищами обрез и хрипло сказал:

— Себастьян, я не драться пришел, а сдаваться. Не хватайся за оружие.

— А ты не врешь? — Рука дядьки Себастьяна застыла на боку.

— Смотри,— опустил свой обрез неизвестный и приблизился к нам. На его темном в оспинах челе выступили боль и усталость, а над запавшими тревожными глазами растерянно хлопали длинные ресницы, будто хотели отогнать от себя плохие видения.

— Ну что, Порфирий, помогли тебе твои бандиты,

вся контрреволюция и дурная злоба? — гневно спросил дядько Себастьян, меряя безжалостным взглядом огромную фигуру бандита, из которой кто-то вынул твердость и силу.

— Не помогли, Себастьян, ой, не помогли, а только изломали мою долю. Потому и пришел к тебе... к вам,— понуро ответил Порфирий. Его заросшее лицо было измученным, от одежды несло кислотой и дымом, а простуженный голос и клокотал, и пищал, и хрипел.

— Изломали, говоришь, долю? — немного потептели глаза дядьки Себастьяна.— А ты от них, бандюг, иного ждал? — махнул рукой в сторону леса.

— Беда,— вздыхает Порфирий.

— А ну, клади свои документы! — приказал дядько Себастьян и снял красную материю.

Бандит подошел к столу, положил на него проржавленный обрез, две потресканные, как черепахи, гранаты, потом достал пистолет, посмотрел на него с горькой усмешкой и протянул дядьке Себастьяну:

— А награду — подарок его императорского величества за давнюю храбрость — передаю тебе.

— Соскучился я по подарку его императорского величества дальше некуда! — неласково посмотрел на оружие дядько Себастьян.— Клади его вместе с бандитским!..

Порфирий положил свое давней храбростью заработанное оружие, снова вздохнул и потупился.

О чем ему думалось в этот туманный час его жизни? О тихом крестьянском рае на своем хуторе, где спокойные волны глядели в вечность, рожь пахла полынью, а припухлые уста жены хранили любовь? Или о темных ночах разведок, в которые его бросила война, и той невеселой славе, что нацепила на грудь его георгиевские кресты? Или о бесславных днях в банде и волчьем одиночестве в лесных дебрях да одичавших скитах, где и обросшие корой монахи не замечали течения времени?

В революцию, вернувшись домой, Порфирий снова ревностно взялся за свое полуразрушенное войной хозяйство. Он из шкуры вон лез, недосыпал ночей, толкся в хозяйстве, как в пекле, надеясь превратить его в рай. Мировые перемены, кровавые битвы, падение царств-



государств, революции и смены властей — все это текло мимо, как во сне или на другой планете.

Не то что партии, товарищества, а даже церковь не интересовала его. Он держался того мнения, что церковь — удел старых, а политика — дело темное и к добру не приведет, крестьянин должен знать одну политику — свой клочок земли и то, что родится на нем. Около своей земельки и скота, дрожа над каждым зернышком

и грошом, Порфирий и оживал, и дичал, уже не замечая, как непосильная работа стирала с припухлых губ жены любовь и клонила книзу грудь. Так в своей хуторской скорлупе дожил бы он отшельником до мирных дней. может, дотянулся бы и до своего рая, если бы не лихой случай.

В двадцатом году в его хуторок нагрянули именно те недальновидные продагенты, что чуть ли не в каждом селянине видели кулака или скрытого врага. Не заходя в хату, они сразу направились в амбар, прикладами высадили дверь и начали наводить свои порядки. Порфирий с ключами подошел к ним и долго молча смотрел, как из его сусеков выгребали зерно. В голову ударили гнев, боль и жадность и там замешали свою адскую стряпню. Когда мешки погрузили на подводу, он встал на пороге амбара и глухо проговорил:

— А тепер езжайте!

— У нас еще есть время,— засмеялись продагенты.

— Никто не может знать своего времени и своей могилы,— сдерживал и не мог сдержат злбу.— Поезжайте, пока тихо.

Продагенты обозвали его хмырем и пригрозили оперативной тройкой, которая в то время на месте чинила суд и расправу. И тогда Порфирий осатанел. Он метнулся в хату, выхватил из ножен саблю и бросился на не ожидавших такого оборота продагентов. Те кинулись со двора, а потом помчались за помощью в уезд. А Порфирий, переодевшись и взяв свое золотое императорское оружие, саблю, узелок с одеждой, подался в банду.

В лесу он сразу же попросил у атамана несколько бандитов, чтобы поймать продагентов. Но тот засмеялся:

— Мужик всегда остается мужиком. Политики нет в твоей голове, вот что.

— Какая еще тут может быть политика? — отмахнулся от ненавистного слова.

— А вот какая: только дураки убивали тех, кто такими способами выкачивал хлеб. А мы их и пальцем не тронем. Пусть мужик на собственной шкуре узнает, что такое продразверстка, тогда к нам добрей будет.

Через некоторое время Порфирий отшатнулся от банды и стал один бродить в лесах, изредка ночами на-

ведываясь на свой хутор, к своему померкшему счастью...

И вот в муках и неверных надеждах стоит он здесь, бандит, вурдалак, перед давним своим товарищем, стараясь прочесть на его лице хоть капельку сочувствия.

— Наконец избавился от своего железа,— с клекотом, хрипом и болью выдавливая его из себя.— Что теперь, Себастьян, будешь со мной делать?

— Буду любоваться дурнем, прислушиваться к чавканью в его душе и гадать, как она от святого хлеба, от земли и любви докатилась до бандитского ремесла,— гневно бросает председатель комбеда.

Порфирий вздрагивает:

— Не пеки хоть ты меня, Себастьян, не пеки.

— Пусть черти тебя на том свете пекут! А у меня есть другая работа.

Бандит безнадежно махнул рукой:

— Будет теперь кому печь на том и на этом свете. Тут большого ума не надо. Нагляделся я на тех, кто умеет и печь и упекать... А помнишь, Себастьян, как мы с тобой когда-то в церковноприходской на одной трехместной парте сидели? Ты с одного конца, я с другого.

— А теперь стоим будто на двух концах земли... Ишь когда школу вспомнил. Чего ж ты с этими словами не прибежал ко мне перед тем, как в банду махнуть? Ты ж не глупый человек.

— Почему? Потому что злоба не дружит с умом,— как-то сразу осел Порфирий.

Дядько Себастьян пристально поглядел на него, сдержал гнев и уже спокойнее спросил:

— Какая еще беда скрутила тебя?

— Неизвестность, только она, потому что не знаю, каким будет мой Судный день... Ты, может, где-то тихонько подскажешь, что именно толкнуло меня в леса. Я озлобился, озлобился и совсем запутался.

— Чего ж ты запутался? Хлеба пожалел, а души — нет?

— Совсем не так, Себастьян... Когда у меня выгребали зерно и душу, одна мысль будто пополам раскроила мой мозг: разве это жизнь, когда свой своего заедает, когда свой на своего смотрит как на врага? И это за-

гнало меня в черный угол. Да разве только меня... Что теперь мне делать на этом свете?

— Пока что садись за стол! — приказывает дядько Себастьян и, что-то обдумывая, смотрит в окно.

Порфирий садится за стол с другого конца, подальше от бандитского и императорского оружия, а дядько Себастьян кладет перед ним плотный, как жесть, лист бумаги, ручку, ставит чернильницу.

— Пиши!

— Что писать! — берет ручку грязными, с черными ногтями пальцами.

— Пиши, что ты, сякой не такой, навеки порываешь с бандитизмом, со всей контрреволюцией, признаешь законы Советской власти и не будешь, как элемент, принимать участия в политике.

— Нужна мне эта политика, — обеими руками гонит что-то от себя Порфирий. — Моя политика в земле лежит, самому бы хоть не лечь в нее.

Он долго пишет свою необычную исповедь, потом хукает на нее, перечитывает и протягивает Себастьяну. И тогда, изменившись в лице от какой-то тяжелой мысли, говорит:

— Вот и дошел до самого страшного... А теперь что скажешь именем власти?

— Иди домой! Вот и весь мой сказ, — исподлобья насмешливо смотрит дядько Себастьян.

Порфирий растерянно и недоверчиво поглядел на него:

— Как ты сказал? Идти домой?

— А куда тебе еще хочется?

— Никуда, ой никуда, Себастьян! Я готов на коленях ползти к детям, к жинке.

— Ты лучше ходить, а не ползать учишь. Ползать и гадина умеет.

В глазах Порфирия начинают бесноваться надежда и всполошенная радость.

— Себастьян, правда, больше ничего не нужно?

— Найдется ли человек, которому не нужно больше, чем он имеет?

— Я не о том, Себастьян... Я, значит, спрашиваю: в уезд, в Чека мне не нужно?

— У Чека без тебя, дурня, хватает работы... К твоей

бумажке я еще в уезде, где надо, прибавлю слово: как-никак на одной парте сидели...

— Ой, спасибо тебе, Себастьян, век не забуду... Сколько ж я думал про Чека, одна мысль о нем переворачивала всю душу... Неужели ж я сейчас повернусь, переступлю порог и пойду домой?..

— Вот так все и сделаешь: повернешься, переступишь порог — и будь здоров.

Порфирий тихонько заклекотал, засмеялся и, быстро обернувшись, из-за плеча взглянул на председателя комбеда. Потом решительно встал напротив него и, уже не сдерживая радости, попросил:

— Себастьян, съезди мне хоть раза два в морду.

— Это для чего ж тебе такая роскошь? — усмехнулся наконец Себастьян.

— Чтоб легче и надежней на душе было. Это мне, считай, вроде как исповедь будет.

— Да ну тебя!

— Очень прошу, ударь, Себастьян... Доставь человеку радость.

— Ну, если уж так просишь, то держись! — блеснули глаза дядьки Себастьяна.

— Держусь! Как следует бей, чтоб всю дурь из макотры выбить! — широко расставил ноги улыбающийся Порфирий.

Дядько Себастьян приблизился к нему, отвел руку да как двинет Порфирия кулаком в грудь. Тот крутнулся и сразу же оказался под окнами, у другой стены.

— Ну как, хоть немного полегчало? — насмешливо спросил дядько Себастьян.

— Ой, полегчало, будто гора с плеч свалилась! — гигикая, распрямляется и поднимает вверх огромные ручки Порфирий. — А теперь я поворачиваюсь, переступаю порог и иду, а потом бегу домой.

Просветленный, он выходит из комбеда, и в открытые двери до нас какое-то время доносится не то всхлипывание, не то смех...

На этом бы дело и кончилось, если бы за него с другого конца не ухватился бдительный Юхрим Бабенко. На следующий же день, одевшись во все праздничное, он отправился к Порфирию, расцеловался с ним, с его женой, пил-ел за их столом и падал от смеха, слушая рас-



сказ хозяина о том, как исповедовал его председатель комбеда.

Это было днем, а вечером Юхрим, уже в будничной одежде, удовлетворенно горбился над материалами: заметкой в газету и заявлениями в уезд, губернию и столицу. Писал не потому, что у него прорезался зуб на Порфирия или хотелось занять пост председателя комбеда — к чему такая морока, если за нее ни гроша не платят? Юхриму Бабенко нужна была слава бдительного и недремлющего обличителя, чтоб на этом коньке доехать до места, пока хотя бы в уезде. Как же можно такую голову и почерк похоронить в селе? И еще хотелось Юхриму приобрести славу корреспондента — и от мужиков почет, и от женщин уважение. К счастью, подвернулось подходящее дельце. Революция в опасности, и ее спасает Бабенко! И вот он пишет, «как муха дышит», и душа его радуется «соображениям ума».

В статье и заявлениях он обвинял дядьку Себастьяна в тяжких грехах против революции: в утрате классовой

бдительности, в подозрительных связях с недобитыми классовыми врагами, в самостоятельности ума и сообщения и... рукоприкладстве. Больше всего бдительный селькор напирал на то, что нельзя было отпустить бандита домой без согласия, разрешения и документации вышестоящих органов.

В село приехала на бричке первая комиссия. Председатель ее был, видно, больным человеком — ему все не хватало воздуха, он задыхался, синел и становился очень сердитым.

— Этот не помилует Себастьяна, — с сожалением говорили в селе.

— Не заиграет ли он теперь на пианино аж в тюрьме, — радовались богачи.

От всех слухов и нашептываний сделалось тревожно у меня на душе.

Комиссия за закрытой дверью стала поодиночке допрашивать Порфирия, дядьку Себастьяна и под конец Юхрима.

А перед дверью сомлела от горя и слез жена Порфирия.

Больше всех говорил Юхрим. Его писарское красноречие, как на волнах, всплывало на самом святом: революции, революционной бдительности и классовой непримиримости. Юхрима никто не перебивал, а когда он наконец замолк, председатель, задыхаясь и синевя, поморщился:

— Все?

— Пока все. Но если нужно для протокола и действия, могу еще, — пообещал Юхрим, обтирая пот со лба.

Тогда председатель комиссии сказал ему:

— Не можете ли вы ответить на два вопроса: во-первых, кто научил вас касаться грязными руками святого слова «революция» и, во-вторых, кто выпотрошил и ощипал, как курицу, вашу совесть?

— Я буду жаловаться по всем параграфам, уставам и инстанциям за оскорбление индивидуума, — заверещал Юхрим.

— Это вы сумеете. Насколько я понимаю, вы всю жизнь будете на кого-то жаловаться и до тех пор топить людей, пока с вас не стянут штаны и не всыпят по всем параграфам и уставу. Только это может помочь вам.

Юхрим, как побитый пес, выскочил из комбеда, и тогда вошла, шатаясь, жена Порфирия. Комиссия долго не могла ей разъяснить, что никто никуда не станет забирать ее мужа — пусть только честно живет, для этого и амнистия дана Советской властью.

— Ой, спасибо вам, люди добрые, — ожила наконец женщина. — Так прошу, не побрезгуйте, зайдите к нам, дома еще самогон остался, этот черт не дал-таки людям допить.

— Крепкий? — задыхаясь, поинтересовался председатель комиссии.

— Горит синим цветом.

— Тогда мы его прихватим для больницы. Не пожалееете?

— Что вы, господь с вами! Если надо, еще нагоним, уже для вас.

Комиссия взяла самогон. Юхрим пронюхал и об этом, обрадовался, заранее смакуя, как он подсунет ежа председателю комиссии, и двинул прямо в больницу. Но и здесь не выгорело: самогон как медикамент был сдан главному врачу — ведь в те годы с лекарствами было очень туго. Да и лечили тогда по селам не так врачи, как гадалки, костоправы и шептухи, орудую заклинаниями, заговорами, живой водой и землей. Ее чаще всего прикладывали к сердцу и к ранам. На смерть смотрели философски: бог дал, бог и взял. Однако теперь забирал не так бог, как тифозная вошь, она была вернейшим помощником смерти. Поэтому никто не удивлялся, что жена Порфирия прозвала Бабенко тифозной вошью.

А Юхрим что? Он притих на день-два, а потом стал распускать слухи про тайных врагов революции, которые выживают его из села, и, высунув язык, разыскивал себе достойную должность в городе.

Как-то вечером, когда мы с дядькой Себастьяном сидели в комбеде за книгой, неожиданно появился Юхрим. Он был во френче английского сукна и в галифе, подшитых блестящим хромом, — это чтоб можно было напустить туману: хозяин этих штанов, мол, еще недавно орудовал в коннице саблей. Юхрим обожал эффекты и в одежде и в языке. Он картинно встал около стола, нервно подвигал руками, сунул их в бездонные галифе, и они там завозились, как зверята.

Дядько Себастьян с презрением посмотрел на непрошеного гостя, в глазницах которого стояла такая тьма, что за ней совсем не видно было зрачков. Юхрим пошевелил губами, и на них изогнулась усмешечка, в которой наглость глушила неуверенность.

— Не ждал моего вторжения, Себастьян? Знаю, не ждал! Но моя драматическая душа должна была прийти к тебе с приношением, то есть на поклон, по всем параграфам, статьям и статуту.

— Какая, какая у тебя душа? — повеселел дядько Себастьян.

— Как было выше сказано — драматическая!

— По каким же это параграфам?

— По параграфам революции!

— А какая тогда у меня душа?

— Натурально, героическая! — поддабриваясь, торжественно проговорил Юхрим, и на лице его застыло почтительное выражение.

Дядько Себастьян только головой покрутил: ох и липкий, мол, ты человек, — но промолчал. А Юхриму только того и надо. Он сразу же повел речь о переменах в уезде, хитро-мудро ввернул, что теперь его друзья всплыли наверх, поприсстроились на посты и зовут его поближе к верхам.

— Ну а ты, разумеется, решил не отрываться от масс? — невинно спросил дядько Себастьян.

— Нет, я еще не решил. Потому и пришел, натурально, за советом. Как быть — остаться в селе или тоже погнаться за фортуной в город?

— Не гонись, Юхрим, за фортуной, ой, не гонись, — чуть ли не вздохнул дядько Себастьян.

— Это почему же? — удивились губы и фасолевидные ноздри Юхрима.

— Потому что ты, если догонишь фортуна, вцепишься в нее и будешь держать только около своей персоны. А доля и людям нужна!

Юхрим встрепнулся, не зная, что делать с этим ударом и со своим гневом. Подумав, он стал таким, о ком говорят: с виду смеется, а внутри шипит.

— Передал ты, Себастьян, кутье меда, а мне характера! — кривит усмешку на ободочках губ. — Злоязычить, натурально, каждый может, но на твоём посту надо иметь вежливость по всем статутам. Знаю, ты гне-

ваешься на меня за ту историю с комиссией. Винюсь, каюсь, зарекаюсь — больше не буду. Не по глупости, а по бдительности забрело мне в размышления, что ты действовал не по революционным параграфам. И я хотел теорией подправить твою практику, потому что кто ж должен за революцию болеть? Только такие, как ты, с практической стороны, и такие, как я, с теоретической.

— За шкуру, только за свою шкуру болеешь ты с практической и теоретической стороны! — разгневался дядько Себастьян. — И чтоб ее спасти, ты всех людей, весь мир продать готов!

— Чего тебе так далеко вперед заглядывать, — озлился Юхрим. — Шкура — дело тонкое, всякий по-своему ее спасает, а некоторые даже отращивают на ней то, что есть у ежа. Резон?

— Почему ж ты не добавил, что иные собирают слизь на шкуру?

— И об этом согласованно скажу, если придется где-то давать свою классификацию. — Злоба искажает лицо Юхрима, и только теперь зрачки протыкают темень глазниц. — А сейчас я к тебе, натурально, с другим пришел. Говорить дальше или велишь зашить уста?

— Говори, чтоб губы не гуляли, — сдерживает гнев дядько Себастьян. — И почему это мне иногда кажется, что изо рта у тебя выскакивают не слова, а лягушки?

— Перебор фантазии, — не задумываясь, объяснил Юхрим.

— Ну так что у тебя?

— Да ничего возвышенного. Очень прошу тебя: черкни для движения личности характеристику, такую небольшую, но, натурально, с душой.

— А без нее приятели из уезда не верят твоей личности?

— Верят, но революционный закон есть закон. Черкни, Себастьян. Работа не тяжелая, но облегчение принесет нам обоим.

— Мне и так легко, — упрямо кивнул головой дядько Себастьян. — А характеристики тебе не дам!

— Дашь! — нахально вытаращился Юхрим.

— Не дам.

— Не имеешь такого закона! — В скользких глазах Юхрима задрожал злой огонек. — Всякая индивидуаль-

ность имеет теперь право на характеристику личности, нравится она кому-то или не нравится. Не сегодня дашь, так завтра, все равно заставят дать! И помни: всякому человеку при желании можно обломать крылья.

— Я и не знал, что ты по этому делу мастер,— даже удивился дядько Себастьян.

— Так знай и сейчас же пиши характеристику, лучше не будем ссориться. Тебе ж спокойней будет, если сплывишь меня из села.

— Убедил! Черт с тобой, дам характеристику, чтоб ты правда исчез с глаз! — согласился дядько Себастьян.

— Вот так бы и сразу,— довольно хихикнул Юхрим.— Все равно я с мясом вырвал бы ее. Я своего никогда не упущу — права есть права! Может, после этого и магарыч для обоюдного мечтания запьем? У меня кое-что забренчало в кармане.

— Держи это на поминки таким же хорошим людям, как сам! — отрезал председатель комбеда.

— Вольному воля, а спасенному, по всем параграфам, рай,— пожал плечами Юхрим. Злой блеск оседает на донышки его круглых глаз, а наверх всплывает довольство. А тем временем председатель комбеда достал бумагу, чернила, ручку и сел писать характеристику.

— Может, тебе помочь комментариями? — пригнул голову к столу Юхрим.

— Обойдусь без них. Не засти свет.

— И прошу тебя, Себастьян, натурально, с документальным эффектом вернуть, что я был в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Это теперь повсюду открывает двери и коридоры.

— Подчеркну, натурально, и с эффектом: твое от тебя никуда не уйдет,— успокоил Юхрима дядько Себастьян.— Ты хоть немного посиди спокойно.

Юхрим облегченно вздохнул и развалился на скамейке. Ведь через несколько дней он уже получит должность, и тогда чхать ему на дядьку Себастьяна, который за все свои раны ничего даже не может отхватить. Вот если б ему, Юхриму Бабенко, хоть кусочек такой биографии, он бы уже в самой столице крутил делами, как цыган солнцем, и не вылазил бы из хрома.

— Может, прочитать тебе характеристику? — поднялся из-за стола Себастьян.

— Прочитай, прочитай, послушаем умное слово, — расплылись и даже подобрели тонкие губы Юхрима.

— Так слушай и не перебивай.

— Не буду.

— Характеристика, — начал читать дядько Себастьян. — Дана Юхриму Бабенко, который в нашем селе родился, крестился и вырос, но, натурально, ума не вынес...

— Ты что, смеешься, чтоб потом заплакать?! — вскопчил Юхрим. От злости у него ощерились зубы, как у запеченного кабана.

— Я сказал: не перебивай. Начинаю сначала: «Дана Юхриму Бабенко, который в нашем селе родился, крестился и вырос, но, натурально, ума не вынес. Основные приметы данного индивидуума: ленив, как паразит, брехлив, как пес, кусачий, как гад, а вонючий, как хорек: куда глядит, там грязнит. Основа его жизни и деятельности — на чужом горе пролезть в рай и захлопнуть за собой двери, чтоб туда никто больше не попал. Люди говорят, что Юхрим Бабенко сшит из змеиных спинок, но документально подтвердить этого не могу, а подтверждаю, что он социально опасен на всех государственных постах, без них тоже будет мутить воду, но с меньшими комментариями...»

— Я... я... я тебе, — затрясся Юхрим, в голосе появились козы ноты; обрывая их, он провел кулаком по губам, которые дрожали от обиды и злости.

— Что ты мне?! — дядько Себастьян презрительно нацелил на Юхрима ресницы.

— Я тебе тоже когда-нибудь напишу и пропечатаю характеристику.

— Она уже написана на двух войнах, так что не очень старайся. И не писаря, и не какая-нибудь погань писала ее...

— Знаю, жизнь писала ее, — кого-то передразнил Юхрим. — Она черкала тебя пулями, а кое-кто еще черкнет тебе пером под печенку, и посмотрим, что из этого дела выйдет! — Бешеная злоба кипела в круглых глазах Юхрима. — Сегодня твое сверху, но сам бог на небе еще не ведает, что будет завтра на земле! Я, натурально, дождусь своего часа, и тогда кто-то узнает, чем пишут-

ся и чем смываются характеристики! Как бы высоко ни поднялись крылья, а перья все равно летят вниз! Резон?

— Резон для того, кто вылупился раньше птицы!

— А кто ж раньше вылупился? — слегка растерялся Юхрим.

— Гад!

Разгневанный дядько Себастьян сделал шаг вперед, а Юхрим крутнулся на месте и, пригнувшись, выскользнул из комбеда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Под высокими осенними звездами затихают дома, и тогда слышней становится шепот росы, полураздетых деревьев и почерневших задумчивых подсолнухов, которые уже не тянутся ни к солнцу, ни к звездам.

Всю жизнь меня влекут и волнуют звезды, чудесные и странные рассказы о них, их таинственное мерцание, их совершенная и всегда новая краса. И самые ранние воспоминания моего детства связаны со звездами.

Вот и теперь, прожив полвека, я вижу вечер на дальнем пастбище, потемневшие грустные травы, которые завтра станут сеном, исполинские шлемы копен и желтые лепестки огня под косарским таганком, слышу последний серебристый звон косы и первый скрип коростеля, пофыркивание невидимых коней, что зашли в туман, и тонкий посвист чирят, стряхивающих с крылышек росу, и ребячий всхлип речушки, в которую на все лето окунулись мята, павлиний глаз и дикие петушки, цветут себе и не горюют.

А над всем этим миром, где аромат сена слегка приглушен туманом и запахом молодого, еще не налившегося зерна, сияют лучшие звезды моего детства. Даже единственный огонек на хуторе, около мостка, тоже кажется мне звездой, спустившейся на чье-то окно, чтобы радостней жилось добрым людям. Вот бы и нам взять одну звезду в свою хату...

И кажется мне, будто, миновав почерневшие ветряки, я вхожу в синий небосклон, беру свою звезду и пря-

миком полями спешу в село. А в это время сон, что незримо притаился в изголовье, касается моих век и приближает ко мне звезды. Их становится все больше и больше, вот они закружились в золотой метелице, я услышал их шелест и музыку... и поплыл, поплыл на утлой лодчонке по волшебным рекам сна...

Сейчас притихшими дорогами, с которых месяц не сводит глаз, мы с дедом возвращаемся из Майданов. Там в лесных избушках дед мастерил людям ульи и налаживал немудреную сельскую машинерию. Были мы с ним в первой коммуне, где земледельцы, опасаясь бандитов, не выходят в поля без оружия. Дед как-то показал мне стоявший неподалеку от пахарей тренажник из винтовок—под ним на полотне лежал святой хлеб.

Бархатный холодноватый вечер окружает нас, под колесами попискивают влажные колеи, шелестят и шипят листья, в долинах нам переходят дорогу клочки тумана — и нигде ни души, только заплаканные вербы вдоль дороги, только месяц и звезды в небе. Вот одна упала на дальние поля, и дед говорит:

— Звезды, как и люди, падают на землю, у них тоже свой век,— и обернувшись ко мне: — Тебе, дитя, не холодно? Может, свою кереею дать?

— Не нужно, дед,— ежусь я на передке и чего-то жду — от моста, что виден впереди, от речки, которая спит и не спит, и от перелеска, сползающего в луга.

— Почему ж не нужно? Ты, вижу, немного замерз.

— Неважно, нам, мужчинам, надо ко всему привыкать,— повторяю его же слова.

— Вот как! — Дедусь натрушивает добрую усмешку на свою седую, пожелтевшую от лунного света бороду, потом застегивает верхнюю пуговку на моем пиджачке, а на босые ноги кладет охапку сена.

Когда мы выехали на чумацкий шлях, из-за деревьев легко, словно тени, выскочили трое вооруженных всадников. От неожиданности я чуть не вскрикнул. Дед одной рукой придержал лошадь, а другую спокойно положил мне на плечо. Под первым крепко сбитым всадником играет блестящий, словно ясным месяцем омытый конь.

«Бандиты», — холодею от догадки и теснее прижимаюсь к деду.

— Добрый вечер! — властно здоровается тот всад-



ник, под которым сияет конь, а двое других, с карабинами в руках, остаются немного поодаль.

— Доброго здоровья, если человек добрый,— отвечает дед. В его голосе нет ни страха, ни тревоги.

— Что везешь, человече?

— Внука, не напугайте его.

— Детей мы не пугаем,— понизил голос всадник.—
А оружие везете?

— Зачем нам такой мусор? — замахал руками дед.—
Надоело и осточертело оно. Вот заработал немного зерна — и вся моя поклажа.

Всадник наклонился к возу, потрогал мешок, сено и, заговорщицки подняв одну бровь, спросил меня:

— Испугался?

— А вы б не испугались? — все еще с опаской пробормотал я.

— Ну конечно, испугался бы,— закивал головой всадник.— Как тебя звать?

— Михайло.

— Славное имя. В школу ходишь?

— Нет.

— Эге,— недовольно вытянулись губы у всадника.—
Как же ты такого маху дал?

— Пришлось, потому что на зиму сапог нет.

— А вы разве не из богатых?

Я обиженно пожимаю плечами, а всадник начинает смеяться. Только теперь я замечаю на его картузе пятиконечную звезду. Выходит, зря я стучал зубами. Насмеявшись, красноармеец серьезно говорит мне:

— Теперь босыми ногами, хлопец, никого не удивишь — очень еще бедные мы. Но все равно должны учиться: так революции нужно! Понял?

— А как же, все до капельки поняли,— говорит дед.

— И что ж вы все до капельки поняли? — лукаво подсмеивается всадник.

— Вот слушай: революции нужен хлеб...— начинает дед, а всадники дружно хохочут.

— Разве не угадал? — удивляется дед.

— Угадали, угадали, но не все.

— А кто ж все угадает? На это надо голову иметь, как бочку. Только я еще не договорил... Кому только не нужен был наш хлеб? Начисто всем! И дети наши нужны были всем для чужой работы, а не в школе. Вот оно и вышло так: и ноги у нас не обуты, и головы босы.

— Эге, дед, так вы ж голова!.. Все сообразили,— удивленно и весело заговорили всадники.— А внука своего непременно посылайте в школу, главное теперь не в сапогах! Было время, когда мы даже воевали босиком.



Вскинув на плечи карабины, они прощаются с нами.

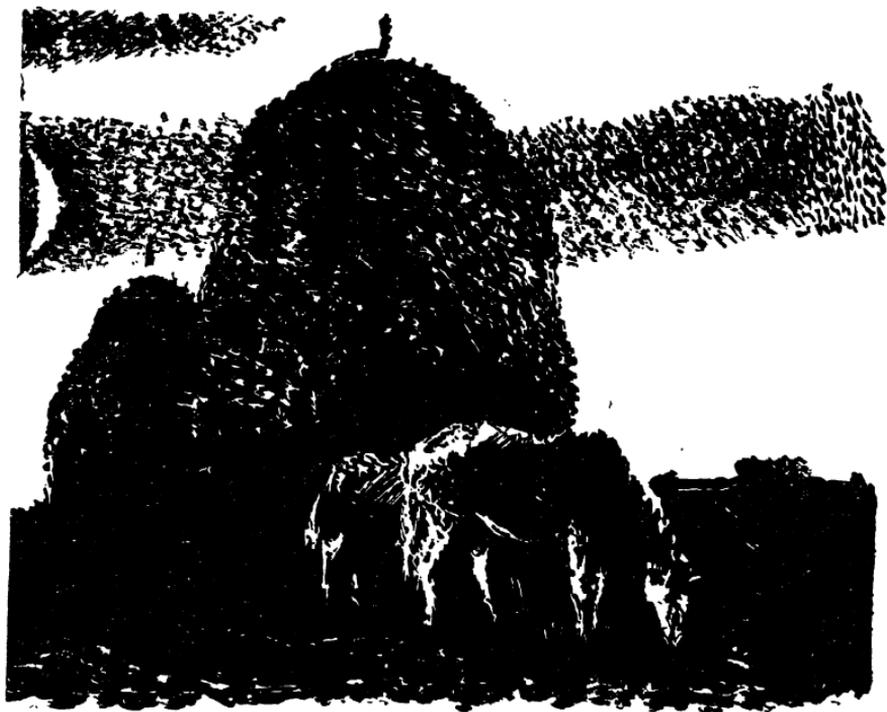
При лунном свете заблестели стремена, забренчало оружие, мягко застонала земля под копытами. И тут молодой красивый голос, хватая за душу, плеснулся, взлетел над стародавним чумацким шляхом, над вековыми липами, над притихшими полями:

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою...

Я потянулся к песне, к небу, к вечерней звезде и замер в печали и восторге, которые родил в моей детской душе чей-то голос.

Отгоревала, отзвенела песня на шляху, скрылись вдаль всадники, а дед, покачав головой, вздохнул и раз, и другой, что-то тихонько сказал себе, а потом обернулся ко мне:

— Жизнь... А ведь и он, слышишь, Шевченко, босиком в школу ходил. Таким было латаное наше счастье. Завтра, внучек, если доживем, подстригу тебя, возьму за руку и пойдем в школу.



— Дедусь, это правда? — екнуло у меня сердце и дрогнул голос.

— Ну да, как сказал, так и сделаю.

— И книжку мне купите?

— И книжку купим, и чернила из бузины сделаем, и на ситцевую сорочечку расстараемся. А там, глядишь, и на сапожки разживемся, подобьем их подковками, будешь идти меж людей и выбивать искры...

— Правда? — верю и не верю, что столько счастья может выпасть одному человеку. Охваченный благодарностью, я прижимаюсь к деду и меж звездами моего детства разыскиваю вечернюю звезду поэта, что будет мне светить всю жизнь...

И радость и горе ходили в ту ночь рядом.

В дороге я несколько раз сладко засыпал и просыпался. Во сне ко мне приходила школа, а наяву сияли высокие осенние звезды, и через минуту снова дедусь вел меня в науку. Через плечо у меня покачивалась торбочка с книгами, на шее болтался на веревочке карандаш, из-под подковок моих сапог выбивались искры,

и славно, славно было на душе. Так теперь уже не бывает...

Месяц давно перешел на другую половину неба, когда мы приехали домой. Дед ссадил меня с воза, огляделся вокруг — на зареченские черные тополя, на подсиненные хаты, на сонный, обведенный рамками теней двор, на огород, на грушу. Все это, омытое лунным маревом, блестело росой, шелестело, раскачивалось и двигалось, словно его потихоньку сталкивали с места. С дерева сорвалась грушка, запрыгала по ветвям, упала на корневище, и снова благословенная тишина, и запах привялых чернобривцев, и дыхание или вздохи земли.

— Как красиво на свете,— говорит сам себе дед. Стоя на латке спорыша, он перебирает свои видения, печали и думы. К нему тянется лошадь, и он кладет ей руку на гриву.— Сейчас и ты отдохнешь. Пора... Михайло, а мы, слышишь, не станем будить ни бабуню, ни мать — наработались, наломались они за день, пусть отдыхают на здоровье. Ляжем в клуне и выспимся там на славу. Так я говорю?

— Ну да, в клуне и просторнее и здоровее,— снова отвечаю словами деда.

— Верно. Ты у меня молодчина. Вот тебе рядно, забирайся на сено. Я скоро приду к тебе.— Ветерок играл его большими растрепанными бровями и тенями под ними, толкая их на высокое чело, где в каждой морщине залегли годы, нехватки, нескончаемый труд и неиссякаемый пот.

— Только не мешкайте.

— А чего ж мне мешкать? Разве такими внуками у меня поле засеяно?

— Ну да, вы всегда так говорите, а потом садитесь под тем окном, где бабуня спит.

— Сейчас не сяду, холодно...— Добрая-добрая усмешка у деда, он подумал что-то свое и махнул рукой: — Иди уж.

Шатаясь, вхожу в клуню, карабкаюсь на душистое долинковое сено, укрываюсь, и тут же сладкая дрема придвигает ко мне и далекие Майданы, и трех всадников на пути, и близкую школу. Там спросят, как меня звать и хочу ли учиться. Я скажу, что очень хочу, и пусть учительница не сильно тревожится,— ей-богу, нагоню упущенное.



А чего же так долго дедусь не приходит? Я с трудом расклеиваю веки и немного привстаю. Сквозь щели в клуне падают взлохмаченные полосы лунного света, в одной из них вдруг начинает сонно дышать и приподыматься земля — это крот роет свою шапку. Около сарая фыркнула лошадь, дед что-то тихо сказал ей. Это меня успокоило, и я куда-то полетел, уже не слыша, как горе входило на наш двор...

Дедусь, напоив лошадь, начал снова по двору и огороду, разговаривая с ними и с людьми, что приходили ему на память. Когда сон его сморил, он подошел к хате, сел на завалинку под окном, за которым отдыхала его неумолимая жена...

Вот и жизнь уже миновала, а старики мои жили, как молодожены: не только на людях, а всегда они были друг к другу внимательны, приветливы и как-то очень деликатны. Умели уважать и добрых людей, и молчаливую скотину, и святой труд, и святой хлеб, только не умели беречь своего здоровья.

Так под окном жены и прихватили моего деда последний осенний сон и простуда. Проснулся он на рассвете с болезнью в груди, ее не могли выгнать ни печь, ни пареное зерно, ни добрая чарка.

Через три дня он уже спал в гробу. На подушке у его головы последний раз лежали любисток, душица и шалфей... И как я ни плакал, как ни молил, чтобы он встал, дедусь впервые не послушался меня...

Недолго прожила и бабуня: тяжело загоревав, она слегла, а когда почуяла свой смертный час, встала, сама побелила стены, помазала глиняный пол, принесла с огорода привялых чернобривцев, гвоздику и панистки, разбросала по хате и велела вечером созвать родню.

При свете плохонькой, заправленной бензином копилки последний раз ужинала со своим родом бабуся. И хотя ее думы и очи уже стремились на небо, никто не верил, что она прощается с миром: ведь белила и прибирала сегодня в хате, и ничего, кроме души, не болело у нее. Но, видно, боль души — самая большая боль. На другой день бабуню схоронили рядом с дедом. Родня и осенний день плакали над ее гробом, а с кладбищенской груши в могилу упала грушка. Наверное, для того, чтобы и на том свете бабуня сажала сады...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сыплются, осыпаются листья, гнутся, горбятся березы, плачет и усмехается сквозь слезы осень и натрушивает печаль на мою наболевшую душу. Свет померк для меня, дни безрадостны и однообразны, а ночи так тревожат, что я просыпаюсь мокрый от слез. Мамина рука вытирает их, а голос тихо-тихо успокаивает:

— Не плачь, Михайлик, не плачь, родной... Все люди умирают. Видишь, вон звезды? — показывает на окно, в которое заглядывает клочок ясного неба. — Красивые, как из сказки, а тоже умирают.

— Я не хочу, чтоб умирали звезды, — говорю сквозь слезы и смотрю, как на тот клочок воровато напоздают тучи.

— Многого нам не хочется, Михайлик, а жизнь идет своей дорогой, одни покидают ее, а другие на нее выходят и все ждут чего-то хорошего... Усни, сынок,

Я засыпал на руках у матери, и в мои сны приходила зыбкая дорога, на которую уже не выйдут дедусь с бабусей, и в снах моих звезды, как осенние листья и люди, падали на землю.

Даже леса теперь утратили свою прелесть, словно кто убрал из них заманчивость и таинственную красу. Встречаясь с грибами, я не радовался, как прежде, и не срезал их ножом — пусть поживут, сколько могут жить.

Однажды уже после обеда я очень удивился, разглядев меж деревьев тоненькую фигурку Любы. Заметив меня, девочка радостно вскрикнула, поправила платок на голове и бросилась к полянке, где я стоял.

— Добрый день, Михайлик, добрый день! Я так и знала, что найду тебя! — Люба остановилась, сияющая, и, как взрослая, подала мне руку.

— Что ты тут делаешь? — спросил я.

— Вот и не скажу.

— А может, скажешь? Ты в свой сад идешь?

— Нет. — Люба опустила голову и стала ногой ворошить опавшие листья. — Я, Михайлик, искала тебя.

— Не может этого быть! — недоверчиво заглянул я в глаза девочки.

— А вот и может... Я же знаю: у тебя горе, а когда горе — всегда болит сердце. Поэтому я хотела тебя увидеть. И даже как-то к твоей хате подошла, а зайти побоялась.

— Спасибо, Люба.

— И не говори такого, — по-взрослому сказала она и узелком поджала губы, а потом таинственно улыбнулась: — Михайлик, а у меня уже сестричка есть.

— Маленькая?

— Ну конечно, маленькая, — засмеялась Люба. — Лежит себе в люльке и все губами чмокает.

— А какая она?

— Хорошенькая, только у нее еще бровки не взошли.

— Неужели совсем безбровая? — не верится мне.

— Пока совсем, только ямки ходят там, где должны взойти бровки. Так интересно!

— Гм... — не знаю, что сказать про такое диво.

— А я уже в школу хожу. У нас в одной комнате учатся две группы, маленькие сидят впереди, старшие — сзади. Меня учительница посадила на самой первой парте, — хвалится и радуется девочка.

— А сапог у тебя тоже нет? — Я взглянул на Любины босые ноги, вспомнил о своем и невольно вздохнул.

— Нет, есть, только я их берегу, потому что два года надо ходить в них. Михайлик, может, сбегает в наш сад?

— Тебе там что-нибудь нужно?

— Нет, просто поглядим на барсучью нору, на гнездо трясогузки, на родник. Правда, сбегает?

— Можно и сбегать,— согласился я, и мы, взявшись за руки, помчались к Любиному саду.

Прежде всего мы подошли к той черешне, на ягодах которой больше всего собиралось росы. И я вспомнил погожее летнее утро, и тетку Василину, и ее песню, что так хорошо лилась меж деревьями. Теперь черешня набросила на плечи багряную шаль и, казалось, тоже собралась куда-то, в свою дорогу.

— А ты ничего не слышал про мою тетку Василину? — спросила Люба, касаясь руками шероховатой коры черешни.

— Нет. Может, что стряслось? — вспомнился Любин рассказ о сердитом муже Василины.

— Вот и не угадал! — оживилось личико девочки. — Про нее и про ее голос даже в газете написали. Кто бы мог подумать, что про тетку в газете напишут!

— Такое время, — сказал я словами дядьки Себастьяна. — А что теперь Василинин муж делает? Так же ругается, чтоб она не приваживала людей на голос?

— Нет, таким добрым стал, хоть к ране прикладывай, он очень боится, чтоб тетка не уехала в город. «Лучше, говорит, мне пой, а я тебе буду из всех яиц голь-моголь крутить». И крутит! — засмеялась девочка.

На кисличке мы увидели осиротевшее гнездо, дно которого было подбито шерстью, а под деревом обнаружили свежие следы барсука.

— Частенько сюда наведывался, лакомка, — нагнулась Люба, изучая затейливую мережку барсучьих следов.

Около норы лежала куча сухих листьев. Люба объяснила, что это хозяйничал барсук: он не какой-нибудь лентяй, заранее, до холодов, готовит себе зимнюю постель.

Так почти до вечера журчал и журчал ручейком Любин голос и понемногу размывал мою печаль. А потом

мы вместе — Люба впереди, я сзади — сели на лошадь и поехали домой. Под нами просыпался туман, а над нами падали и падали листья — золотые слезы осеннего леса. Перед селом Люба сказала, что дальше пойдет пешком.

— А почему не хочешь ехать?

— Так не годится, — застенялась девочка.

— Почему ж не годится?

— Кто-нибудь из ребят увидит и начнет дразнить нас: жених и невеста... Есть же такие бессовестные.

Я соскочил на землю, бережно ссадил Любу. Она снова подала мне руку и одна в сумерках пошла луговой тропинкой. А я все поглядывал вслед, пока не исчезла тоненькая фигурка...

Сегодня наши ворота почему-то открыты настежь. Может, в гости кто приехал? Но ни лошади, ни телеги нет ни на дворе, ни под навесом. Я подъезжаю к сарайчику, отпускаю повод, а в это время кто-то сзади сильными руками поднимает меня вверх, а потом прижимает к себе.

И страх, и радостное предчувствие сразу охватили меня, и я зажмурил глаза. А когда раскрыл их, увидел незнакомое и будто знакомое лицо и снова зажмурился.

— Михайлик, не узнаешь?! — все сильнее прижимает меня к себе высокий широкоплечий человек с коротко подстриженными усами.

— Нет, не узнаю, — говорю тихонько, и тепло-тепло становится мне на груди у этого сильного незнакомо-го и будто знакомого крестьянина. — Вы откуда будете?

— Михайлик, я ж твой батько, узнавай скорее, — радуется, печалится и целует меня человек. — Ну, узнал?

— Нет.

— Вот тебе и раз, — даже вздохнул он, и глаза его повлажнели.

Я узнавал и не узнавал своего отца. Словно из далекой тьмы слышался мне его голос, где-то я словно видел эти глаза, но где — не знаю. Однако хорошо было прижиматься к этому человеку, который одной рукой придерживал мои босые ноги, а другой — голову.

К нам подошла улыбающаяся мать.

— Узнал? — спросила она.

— Нет.

— Михайлик, глупенький, это ж твой отец! Чего же ты молчишь?

Я не знал, что сказать,— ни одно слово не приходило в голову. Вот так меня, онемевшего, внес отец в хату, где теперь на сундуке лежала шинель, поставил на пол, осмотрел и засмеялся.

— Да он у нас просто парубок, только беда, говорить не умеет.

— Эге, не умеет! Ты еще узнаешь его,— засмеялась мать.

— Теперь уж, наверно, узнаю, никуда не денется... Вот я его завтра в школу поведу.

— Поведете? — встрепенулся я и заглянул в отцовские глаза.

— Ну да. Хочешь учиться?

— Ой, хочу, батько! — обхватил я отцовы ноги, а он почему-то захлопал веками и положил руку мне на голову.

Поговорить с отцом нам не дали соседи. Их сразу же набилась полная хата, на столе появились немудреные подарки в бутылках, а мать поставила на стол голубцы с новым пшеном и сушеные вьюны, которых мы наловили еще с дедом, и полилась беседа с бесконечными пересудами про землю, политику, границу — пойдет или нет на нас Антанта войной. Уже задремав, я захватил в сон отцовы слова:

— Ничего у них не выгорит, ничего! Если не удержались на гриве, на хвосте не удержатся!

На другой день отец взял меня, остриженного, накупанного и одетого во все новое, за руку и повел в школу. Когда после звонка детвора горохом посыпалась из класса, отец подошел к стройной русоволосой учительнице, поздоровался с ней и, наклонив голову в мою сторону, сказал:

— Привел, Настя Васильевна, вам своего школьника. Может, и из него какой толк будет.

— Посмотрим,— усмехнулась учительница, и улыбнулись продолговатые ямки на ее щеках.— Как тебя звать?

— Михайлом.

— А учиться хочешь?

— Очень хочу! — так выпалил я, что Настя Васильевна рассмеялась. Смех у нее приятный, мягкий и аж поднимает тебя.

— Только пропустил он много,— сказала отцу.

— Все догоню, вот увидите! — вырвалось у меня, и я с мольбой посмотрел на учительницу.— Читать умею.

— Ты умеешь читать?— удивилась Настя Васильевна.

— Жинка говорила, что правда умеет и по всему селу выискивает книжки,— подтвердил отец.

— Это уже хорошо. А кто тебя научил читать? — поинтересовалась учительница.

— Я сам от старших учеников перенял.

— А ну, почитай нам что-нибудь.— Настя Васильевна взяла со стола книгу, полистала ее и протянула мне: — Читай вот на этой странице.

Такой страницей меня не удивишь: тут каждая буква была величиной с воробья, а мои глаза уже успели привыкнуть и к маленьким, словно мак. Я чесанул эту страницу, не спотыкаясь на точках и запятых, чтобы учительнице сразу было видно мое знание.

От такого чтения отец просветлел, а учительница удивилась и, смеясь, спросила:

— А быстрее ты не можешь?

— Могу и быстрее, вот дайте,— ответил я, чувствуя, что все идет хорошо.

— А медленней тоже можешь?

— И медленней могу,— удивился, потому что зачем же делать медленней то, что можно быстро.

— Ну так прочитай, не забывая, что в книжке есть еще и знаки препинания.

И я читал, все время помня о знаках, и видел, как счастливый отец любит своим читальщиком.

— А цифры ты знаешь? — спросила учительница.

— И цифры до тысячи знаю.

— А таблицу умножения?

— Нет, этого не знаю,— вздохнул я и увидел, как погрустнел отец.

Но учительница тут же нас так порадовала, что отец будто даже подрос, а я чуть не подпрыгнул.

— Панас Демьянович, придется вашего ученика записать во вторую группу.

— Спасибо вам,— степенно поблагодарил отец.— Пишите, если на вторую потянет.

Учительница повела меня на ту половину класса, где училась вторая группа.

— Вот тут, Михайло, будешь сидеть,— показала мне на трехместную парту.— Завтра приходи с ручкой, чернилами, карандашом, а книги я тебе сейчас дам...

Домой я не шел, а летел,— во-первых, надо похвалиться, что мать сразу имеет школьника не первой, а второй группы, во-вторых, нужно сбегать в лес, нарвать ягод бузины, надрать дубовой коры, а потом сварить их с ржавчиной, чтобы завтра были те самые чернила, которыми тогда писали.

Дома нас ждала мать и дядько Микола. Когда отец сказал, что меня приняли во вторую группу, мать сразу грустно повторила свое: «И что только будет из этого ребенка?» А дядько Микола сказал: «Весь пойдет в меня — это по нас обоих уже видно», — и в хате стало весело, а мне и за хатой светило солнце...

Учился я хорошо, учился бы, верно, еще лучше, если б имел во что обуться. Когда похолодало и первый ледок затянул лужи, я мчался в школу как ошпаренный. Наверно, это и научило так бегать, что потом никто в селе не мог перегнать меня, чем я немало гордился.

Однажды, проснувшись, я увидел за окном снег, и все во мне похолодело: как же я теперь пойду в школу? В хате в то утро горевал не только я. После завтрака отец надел свою керею из грубого самодельного сукна и сказал:

— Снег не снег, а учиться надо. Пойдем, Михайлик, в школу.— Он взял меня на руки, укутал полами кереи, а на голову надел заячью шапку.

— Как же ему, горемыке, без сапог? — жалостно скривилась мать.

— Ничего, ничего,— успокоил ее отец.— Теперь такое время, что главное не в сапогах.

— А в чем?

— Теперь главное — чистая сорочка и чистая совесть,— усмехнулся отец.— Правда, Михайлик?

— Правда,— тесно прижимаюсь к отцу, и мы оба под вздохи матери покидаем хату.

Всю дорогу люди удивлялись, что Панас на руках несет в школу сына, некоторые школьники на это диво



тыкали пальцами, а я чуть не заплакал от радости, что отец не даст мне бросить науку.

Так первые дни зимы батько относил меня в школу, а после уроков снова заворачивал в кереею и нес домой. К этому привыкли и школьники, и учительница... и я... Если б сейчас спросили, какая одежда лучшая из всех, что довелось мне видеть на свете, я без колебаний ответил бы: кереея моего отца. И когда в книгах я хоть изредка встречаю слово «кереея», ко мне трепетно приближаются самые дорогие дни моего детства.

Как-то, когда на дворе была метель, батько опоздал и только под вечер, белый от снега, с обледенелыми усами, но веселый, вошел в класс и громко спросил:

— А который тут бессапоженко?

— Это я, — выскакиваю из-за парты.

— Кто это ты? — будто не узнает отец.

— Сын Панасов! — бодро отвечаю я.

— Тогда лови! — отец бросает мне настоящий бублик. Я подпрыгиваю, перехватываю гостинец и радуюсь, что он даже с маком.

— Вы на ярмарке были? — спрашиваю, жалея надкусывать бублик.

— На ярмарке.

— И что-то купили?

— И что-то купили! — весело и заговорщицки подмигнул мне отец, а с его бровей закапал оттаявший снег. — Вот смотри! — Он потряс кереей, и на пол упали настоящие сапожки.

Я сначала остолбенел, поглядел на сапожки, потом на отца и снова на сапожки, которые пахли морозом, смолой и воском.

— Это мне? — спросил я тихо-тихо.

— А кому ж! — засмеялся отец. — Обувайся, сынок.

Я подхватил сапожки, поднял их вверх, и они блеснули серебряными подковками.

И тут мне вспомнились дедовы слова: «Будешь идти среди людей и выбивать искры...»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дела мои пошли в гору: в том же учебном году меня отметили и перевели в третью группу. По этому случаю учительница сказала мне очень добрые слова.



Дома отец удивился успехам своего сорванца и, спрятав в подстриженные усы улыбку, сказал:

— Если так, то пусть будет не хуже... Наука наукой, а сапоги береги.

Мать снова затужила:

— Что только будет из этого ребенка?

А я взялся писать пьесу. Вероятно, прочтя эти слова, не один читатель пожмет плечами и усомнится: почему же именно пьесу, а не стихи? На все, как сказал один философ, есть свои причины. Были они и здесь.

В ту зиму в нашем селе впервые заговорили про «тиатры». Что оно такое, никто толком не знал, а слухи и пересуды ходили разные. Одни говорили, что «тиатры» — это какое-то интересное лицедейство с переодеваниями, другие — «а, большевистская выдумка», третьи — «люзион», где пускают в глаза туман и наваждение, четвертые — затея самого нечистого, ведь на сцене, бывает, появляются русалки, а иногда и черти из бочки выскакивают. Кто-то даже слышал, что одна пьеса так и называлась: «Сатана в бочке».

Дядько ж Микола пояснил, что театр — штука стоящая, потому что там показывают красавиц в коротеньких юбках. А так как у нас тогда носили юбки до пят, дядьке Миколу сразу ж досталось за бессовестность от тетки Лукерьи. На это дядько Микола ответил по-французски:

— Прошу, мадам Лукерья, пардону.

И «мадам Лукерья», бросив ухват, затряслась от смеха.

Несколько дней в селе только и разговоров было что о театре, а особенно загудело, когда комсомольцы начали для представления занимать у селян стулья, лампы, тарелки, чашки и даже юбки, из которых хитромудро должны были выходить широченные старосветские штаны. Комсомольцы называли это реквизитом, а кто-то из богачей пустил слух, что это реквизиция. Кое-кто из перепуганных женщин бросился отнимать свои юбки, не зная, что они должны были послужить великому искусству.

Для меня тогда слово «театр» звучало и привлекательно, и страшновато: а что, если и в самом деле из темноты выскочит черт?.. Но тогда этого не случилось. Случилось это значительно позднее.

Село по-разному, но с нетерпением ждало спектакля. И вот однажды на стенах сельсовета, комбеда, потребительского общества и школы закрасовалось такое объявление:

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Сегодня в семь часов вечера
впервые в нашем селе
будет показано лицевое действо, то есть театр.

Цена билета.

Пшеницы — 4 фунта,
яиц куриных — тоже четыре,
гусиных — три,
ржи — пять фунтов,
гречки, проса, гороха — шесть фунтов.

ВСЕ. ВСЕ — В ТЕАТРЕ!!!

Прочитав такое, я сначала обрадовался, а потом скис: на что ж купить этот билет?

Надеясь только на «может быть», я пошел к матери, но она так посмотрела на меня, словно я по меньшей мере из дымовой трубы вылез, а потом стала подсмеиваться:

— Глядите, наш парубок в театр захотел! Чего доброго, и артистом захочет стать.

— Нет, мама, в артисты я, наверно, в этом году не пойду, — успокоил я мать. — Но посмотреть, что они за люди, очень хочу. Так, может, дадите мне зерна?

— А потом что будем делать? Положим зубы на полку, чтоб сушились до нового урожая, и будем вспоминать театры? Ведь муки у нас осталось только на два-три раза. Что ты на это скажешь?

Мне уже ничего не хотелось говорить. Выждав, когда мать уйдет в село, я бросился в клуню и стал шарить на вышках, надеясь где-нибудь найти забытое куриное гнездо. Но мои розыски ничего не дали: в гнездах лежали одни болтуны.

И все-таки вечером я поплелся в школу, где должен был быть театр. Теперь вход был загорожен столом, на котором стояли весы, чтоб взвешивать зерно за билеты,

и две огромные макотры для яиц. Счастливицы за «натуру» получали от кассира красные с печатями бумажки и гордо шли в школу, а несчастливыцы облепили крыльцо, как пчелы леток. Одни из них, как и я, надеялись, что, может, посчастливится проскочить под столом кассира, а другие — хоть заглянуть в окна, когда начнется зрелище.

Вот в дверях появился секретарь комсомольской ячейки Микола Гуменюк. Через голову кассира он крикнул:

— Эй, мальцы, кто быстренько принесет куль соломы — пропустим в театр!

— Я принесу, я вот тут живу! — опередил всех веснушчатый Омелько.

— Неси! — приказал Гуменюк.

— А может, и сена нужно в театр? — отозвался я.

— Нет, пока что обойдемся без сена, — отрезал секретарь мою последнюю надежду честно войти в театр.

Я только тяжело вздохнул: знал бы, что театр никак не может обойтись без соломы, так еще с полудня сидел бы тут с кулем.

Вскоре Омелько со снопом за спиной расталкивал школьников на ступеньках, и, сияя всеми веснушками, радостно орал:

— Да не толкитесь, как в мешке, дайте дорогу в театры!

Он исчез в дверях, а я все заглядывал и заглядывал под стол, ожидая, когда ноги кассира так отодвинутся, чтоб можно было проскочить между ними и ножкой стола. И вот настала эта долгожданная минута: кассир взял обеими руками макотру с яйцами и стал осторожно отодвигать ее на другой конец стола. А я, затаив дыхание, юркнул под стол и, как ящерица, пополз на четвереньках в коридор. Вдогонку мне какое-то чучело бухнуло: «Держите его!» С перепугу я вскочил на ноги, метнулся к другим дверям и... с разбега налетел на высоченного в красном колушке парня. Ему сразу стало весело, а мне горько. Разве ж я знал, что и в других дверях перехватывают «зайцев»?

— Ты откуда такой выискался? — подхватив меня под бока, спросил парень.

— Вон оттуда, — невыразительно промолвил я. — Пустите меня, дядько, в театр.

— Ишь чего захотел! Я тебя пушу, но так, чтоб знал, где раки зимуют!

— Я знаю, где они зимуют...— жалобно заскулил я, потому что не раз слышал об этом от взрослых.

— А куда Макар телят гоняет, тоже знаешь? — уже с любопытством покосился на меня парубок.

— И это знаю,— смелее ответил я.

— Ну, а как рога козам правят?

— Тоже знаю.

— А почему фунт лиха?

— Это смотря на какой ярмарке,— уже уверенно ответил я.

Мой ответ понравился любителю поговорок, он засмеялся и еще спросил:

— А чего ж ты не знаешь?

— Не знаю, что такое театры. Пустите, чтоб я увидел.

— Ишь какой шустрый, чего захотел. Я сейчас как натру тебе чеснока, так надолго забудешь про театры.— И парубок повел меня впереди себя к выходу. А там уже мальчишки поняли, что к чему, и стали тыкать в меня пальцами.

Я б не сказал, что это были лучшие минуты моей жизни. Но они сразу стали еще тяжелей, когда я под зорким конвоем очутился около самого кассира: на встречу мне с крыльца поспешно шел дядько Себастьян. Теперь я готов был провалиться сквозь землю от стыда, щеки мои вспыхнули, а под веками защемили слезы. Немного отодвинувшись, я понурил голову и смотрю не на дядьку Себастьяна, а на его сапоги, надеясь только на чудо: может, войдя из темноты, председатель комбеда не узнает меня.

— Ты что, Андрей, собираешься делать с хлопцем? — не глядя на меня, спросил дядько Себастьян парня.

— А что с ним делать: за хвост — и на двор,— засмеялся Андрей.

— Так, может, мы его пропустим в театр? Пусть поглядит малый. Много ли он там места займет?

— Ну, если вы так думаете, пусть и у него будет праздник,— согласился парень.

Дядько Себастьян обернулся к кассиру:

— Александр, дай мальчику контрамарку, чтоб не гоняли его, как соленого зайца.— Потом он лишь дотро-

нулся рукой до моей головы и пошел в школу. Я знаю, почему дядько Себастьян не остановился тогда: он видел, что мои слезы уже на подходе, а у него была деликатная душа.

Александр измерил меня точно таким взглядом, каким обычно меряют тех, кто проскальзывает на дармовщинку в театр, и ткнул крохотный клочок бумаги.

— А где ж контрамарка? — не поднимая головы, спросил я, потому что разве мог подумать, что такое большое и торжественное слово помещается на клочке бумаги, где не могла даже округлиться вся печать.

— Это она и есть. Ступай, только не занимай чужого места — твое стоячее!

Зажав в руке контрамарку, я бросился в школу, которая сейчас гудела, как улей, смеялась и нещадно грызла семечки. Вместо школьных парт здесь стояли колоды, на которые были настелены свежие доски, и все с удовольствием раскачивались.

Меня сразу же потянуло вперед, потому что сзади, за головами взрослых, ничего не было видно.

Когда я остановился перед сценой, над которой колыхался сшитый из ряден занавес, кто-то меня снизу цапнул за ногу и где-то, будто в подземелье, послышался смех. Я оглянулся. Кто ж это мог насмеяться надо мной? Нигде никого. Но стоило мне поднять голову, как снизу снова что-то меня дернуло, теперь уже за другую ногу, и подземелье взорвалось писклявым смехом. Может, это и есть та нечистая сила, что действует в театрах? Мне стало страшновато. Я немного отошел от сцены, а в это время кто-то из подземелья прошептал:

— Михайло, залазь к нам, тут безопасней — проверять не будут.

Я немного пригнулся, и в дыре под сценой увидел своих одноклассников Софрона, Виктора, Ульяна и Григория. Так вот какая нечистая сила хватала меня за ноги. Оказывается, озорные хлопцы, чтоб увидеть театр, еще днем, после уроков, забились под сцену и там, терпя неудобство и голод, дожидались представления.

— А мать уже тебя по всему селу разыскивала, — нагнулся я к Софрону.

— С прутом или без? — потребовал уточнения хлопца.

— Без.

— Все равно теперь дома будет еще один театр,— посмутнел парнишка, а потом спросил: — У тебя случайно ничего нет поесть?

— Есть жареный горох.

— О! — только и вырвалось у хлопцев. Они набросились на мой горох, и вскоре из-под сцены послышался беззаботный смех и дружная работа челюстей.

Но вот зашатался и стал подниматься вверх занавес. Все в школе притихло. Друзья повылазили из своего убежища и уселись на полу у ног взрослых. На сцене заговорили артисты, и тут же заговорил зал: почти все начали вслух угадывать, кто именно играет ту или иную роль.

— Ей-богу, это не дед, а Явтух,— радостно узнал кто-то артиста.

— Тоже скажешь! Разве Явтух мог так постареть? — не верил другой голос.

— А они, артисты, и старость придумывают: из пакли налепляют столярным клеем бороду и усы,— вдумчиво пояснял третий.— Старость легче выдумать, чем молодость.

— Нет, это не Явтух: у него ж голос звонче,— не соглашался четвертый.

— Дурень, он же играет.

— Давайте лучше спросим его... Явтух, это ты или нет? — летит через головы вопрос артисту.

И вдруг дед, что по ходу пьесы должен был горевать, от такого вопроса прыснул, прикусил губу, а потом стал так смеяться, что у него сначала отлетели усы, а потом и борода. Все зрители грохнули смехом и так начали раскачиваться на досках, что те затрещали, а одна сломалась. Те, кто сидел на ней, попадали на пол, и театр стал еще веселее. Только одному суфлеру чем-то не угодила людская радость. Он выскочил из будки и стал кричать:

— Занавес! Занавес!

И чего ему жалко, чтобы люди вдоволь посмеялись за свое зерно?

После того как занавес второй раз поднялся, зрители снова угадывали артистов и получали от этого немалое удовольствие.

Всем пришлась по душе картина, где парубок у колодца обнимал дивчину. Правда, девчата в зале немно-

го застеснялись такого лицедейства и поопускали головы. Зато хлопцы аж подрастали на скамьях, а потом стали советовать влюбленным, чтоб те поцеловались. Но в те времена молодежь у нас на людях не целовалась ни на улице, ни в пьесе, хотя там, как я вскоре узнал, и стояло мелкими буквами: «целуются».

А вот когда в последнем действии муж начал убивать жену, все заволновались и стали кричать и угрожать артисту. Но тот не послушался голоса масс и так напоследок ударил жену, что та упала около стола. Зал ойкнул девичьими голосами, а несколько парней кинулись на сцену бить и вязать убийцу. Но его спас суфлер. Он как ошпаренный опрокинул будку, выскочил из-под пола и снова не своим голосом заорал:

— Занавес! Занавес!

— Какой там занавес, когда тут людей убивают, — отозвался от окна кто-то басом.

Тогда суфлер повернулся к залу и, размахивая руками, как крыльями ветряка, начал совестить людей — и что они за народ! Когда покупаешь билет в революционный театр, так нужно знать, что там не допускают кровопролития даже элементов, а не то что беззащитной женщины, которая в минувшую эпоху имела одно угнетение. А потом он повернулся к артистке и велел ей встать. Она встала, стряхивая пыль с юбки, засмеялась от такого единогодушного сочувствия и внимания, и в зале тоже все начали смеяться и хлопать в ладоши.

Пьеса прошла с огромным успехом: после занавеса зрители бросились на сцену и начали, не жалея рук, качать своих первых артистов. Такого единения зрителей и актеров я почему-то впоследствии не наблюдал даже в столичных театрах. Да и переживали, смеялись и плакали у нас искреннее, чем где-либо.

На следующий день после спектакля я попросил у учительницы почитать какую-нибудь пьесу. Она мне разыскала «Мартына Борулю» и еще какую-то затрепанную книгу. Я внимательно их прочел, а потом начал докапываться, как пишутся пьесы и что означают «действие», «картина», «явление» и прочая премудрость. Все это было необычно и страшно интересно. А прочитав несколько пьес, я решил написать свою, такую, чтобы там были и дядько Себастьян, и дядько Микола, и Марьяна, и другие люди нашего села.

Что касается технологии, меня больше всего волновало, как писать те слова, что стоят в скобках, потому что в пьесах они печатались так, словно их кто-то мелко писал. Тогда я решил всю пьесу писать своим обычным косым почерком, а то, что в скобках, косить на противоположную сторону. И все у меня пошло вроде бы как следует...

Вот и сейчас — еще только рассвело, а я ломаю голову над третьим действием — никак не мог подобрать девушке слова про любовь. А подобрать обязательно нужно, потому что какая ж это пьеса, если в ней мало любви и поцелуев? С поцелуями, правда, проще — их во всех действиях вдоволь, а вот любви мало. Спросить об этом у старших нельзя — засмеют. Нет, все-таки нелегко быть драматургом, когда тебе только десять лет. Может, и правда на стихи перейти? Но какая ж от них радость? Кто только не читает на вечерах стихи, все чего-то завывают и завывают, а от пьесы всем и радость и печаль.

Пока я раздумывал над особенностями жанров, в хате светлело и светлело. Вот уже и солнце золотой кистью постучало мне в окно, а под окном заворковали голуби. Пора и в школу. Собирая книжки, я услышал, как на дворе затарахтела телега, заскрипела наша калитка, радостно крикнула утка, застучали быстрые шаги, стукнули двери, и на пороге, будто сама весна, встала разрянувшаяся и сияющая Марьяна. На ее новом колушке в петельке кивали головками два первых подснежника.

— Добрый день и доброго здоровья вам в хату! — приложив руку к груди, низко поклонилась она отцу с матерью и мне.

— Доброго здоровья, Марьянка, доброго здоровья, детка, — дрогнул голос у матери.

Мы все поняли: с чем-то необычным, большим пришла к нам девушка.

Марьяна прижалась к матери, что-то зашептала ей, и у матери на ресницах заблестели слезы.

— Не плачьте, тетенька, а то я сама расплачусь, — смеясь, заплакала Марьяна.

— Какой же он, твой месяц?

— Вот тебе и раз! Неужели вы его летом не видели, когда он ко мне в ваш садик приходил? — удивилась девушка.



Мать снисходительно улынулась:

— Ты только шептала мне про своего казака, а показать забыла.

— Так выйдите — посмотрите, — кивнула головой на окно. — Сидит себе на возу и так гордится, что дальше некуда. — И уже тихо, только матери, сказала: — Он княжной и звездочкой называет меня.

— Ты и вправду звездочка. — Мать вытирает рукой глаза. — А как он тебе?

— Почему-то и суженым и отцом сразу кажется, — шепотом сказала Марьяна.

— Да что ты? — удивилась мать.

— Это, верно, потому, что я не помню своего отца. А к тому же мой Максим у самого Котовского конником был и так саблей орудовал, что даже орден заработал.

— Орден?! — радостно вскрикнул я.

— Ну да! — гордо сказала Марьяна, а потом наклонилась ко мне и поцеловала в щеку. — Прощай, Михайлик, прощай, моя радость, теперь уж не скоро, не скоро увидимся. И учись, Михайлик, так учись, чтоб все узнали, какие бывают мужицкие дети. Пусть не говорят ни паны, ни подпанки, ни разная погань, что мы только быдло. Может, и были когда-то, а теперь — хватит!

Грусть и жалость перехватили мне горло. Я нескоро-нескоро сумел сказать:

— Ты ж приезжай к нам, Марьяночка, потому что мы все очень любим тебя.



— Когда можно будет. Прощай, дорогой.— Она еще раз целует меня, маму и выходит из хаты.

На улице стоят запряженные лошади. Молодой горбоносый парубок в шинели поворачивает к нам голову и приветливо улыбается. Отец первым подходит, здоровается с ним.

— Сумел же ты, хлопче, высмотреть дивчину. Такую долго надо искать.

— А я долго искал ее. Три года в седле провел. Поэтому доля и склонилась ко мне,— сердечно говорит парень и протягивает невесте руку: — Садись, Марьяна.

Девушка легко порхнула на подводу, а в это время кто-то тихонько трогает меня за рукав. Я оглядываюсь. У плетня с торбочкой через плечо стоит Люба. У нее тоже почему-то сияют глаза.

— Невеста?

— Да, невеста,— удивляюсь, как об этом сразу узнала Люба.

— Ой, как хорошо! — радуется девочка, не понимая, как тяжело мне прощаться с Марьяной.

— Прощайте, люди добрые,— тронул шапку жених

и потянул вожжи. Под копытами коней зазвенела и брызнула соком мартовская земля.

Мы долго-долго смотрели вслед Марьяне. Вот уже лошади свернули на другую улицу, последний раз мелькнули головы жениха и невесты, а мы все смотрим и смотрим вдаль: и на прихваченные весной поля, и на солнце, и на ветряк — эту селянскую птицу-сказку, что все собирается лететь в небо, да не может разлучиться с землей.

— Какой будет ее доля? — неизвестно у кого, у солнца или у земли, спрашивает мать.

А мы с Любой, взявшись за руки, идем в школу, идем по тем свежим колеям, что остались на мартовской дороге.

И вдруг над нами, над моей печалью послышался тревожный звон далеких колоколов. Мы с Любой поднимаем головы к небу, к празднично белым облакам и видим, как прямо из них вылетают лебеди и натрушивают на хаты, на землю и в душу лебединую свою песню.

И хорошо, и странно, и радостно становится мне, малому, в этом мире...

А лебеди летят, летят... над детством моим... над жизнью моей!..

*Дьяковцы — Ирпень — Киев
1963—1964*

СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Л. Якименко. Лебединая страна детства</i>	5
<i>ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ... Повесть</i>	15

Стельмах
Михаил Афанасьевич
ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ...

Редактор *Е. Цинговатова*
Художественный редактор
Г. Кудрявцев

Технический редактор *М. Фридкина*
Корректор *А. Новикович*

Сдано в набор 6/VII 1966 г. Подпи-
сано в печать 2/III 1967 г. Бумага
№ 2. 84×108¹/₃₂ —5,5 печ. л.=9,24 усл.
печ. л. 8,98 уч.-изд. л. Тираж
100 000 экз. Заказ 1701. Цена 30 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Нозо-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа,
Государственного комитета
Совета Министров БССР по печати.
г. Минск, Красная, 23,

30 коп.

